

ПРИСВОЕНИЕ

цикл рассказов о мире, в котором женщины
перестали рожать детей

18.06.2023

11.06 pm | 3

18.05.2023

11.00 pm | 2

14.03.2023

21.05 pm | 1

10.01.2023

11.06 pm | 7

12.09.2022

21.50 pm | 3

07.07.2022

11.20 pm | 1

14.05.2022

13.10 pm | 2

21.05.2022

11.05 pm | 3

11.02.2022

15.05 pm | 3

11.02.2022

21.00 pm | 3

19.12.2022

11.05 pm | 1

15.12.2021

13.00 pm | 2

18.11.2021

21.10 pm | 2

21.09.2021

21.05 pm | 3



18+

ЖАННА ШУЛЬМАН

Жанна Шульман

Присвоение

«Автор»

2026

Шульман Ж.

Присвоение / Ж. Шульман — «Автор», 2026

Детей больше не рожают. Их получают из портала — по заявке, по очереди, по решению комиссии. Установку изобрели случайно: искали искусственную матку для недоношенных, а получили устройство, которому беременность не нужна. Материал — из обезличенной базы. Ни один ребёнок никому не родной по крови. Казалось бы, вместе с биологией должно исчезнуть всё, что на ней держалось. Но оно не исчезло. Мать всё так же «ближе». Старший всё так же «должен уступать». Бабушка ищет во внуке фамильный нос, которого не может быть. Тридцать семь историй о семьях, у которых отняли готовое объяснение — и которым пришлось выяснять, что делает людей родными. Книгу написал клинический психолог, работающий с семейными кризисами. Каждая глава — тема, с которой пары приходят на консультацию: привязанность, ревность, выгорание, развод, горе. Мир придуман. Ситуации — нет. Кровное родство даётся свыше. Всё остальное в семье мы создаём сами — трудом, заботой, прожитыми совместно годами и ежедневным присутствием.

© Шульман Ж., 2026

© Автор, 2026

Жанна Шульман

Присвоение

Главы 1-4

ПРИСВОЕНИЕ

цикл рассказов о мире,

в котором женщины перестали рожать детей

Жанна Шульман

ПРЕДИСЛОВИЕ

Идея этой книги родилась не из фантастики, а из работы психолога. Сидя напротив пар на консультациях, я отметила одну и ту же, почти незаметную для самих участников закономерность: очень многое в том, как супруги делят обязанности, как строят ожидания друг от друга, как переживают появление ребёнка, — держится не на осознанном решении, а на молчаливом допущении, унаследованном настолько давно, что оно давно перестало казаться допущением и стало восприниматься как «негласное правило». Кто встаёт ночью к ребёнку. Кто берёт отпуск. Кто «должен» хотеть ребёнка сильнее. Чьё слово весомее в вопросах быта, а чьё — в вопросах денег.

Мне стало интересно: что из этого держится на реальном биологически обусловленном факте: на теле, беременности, кормлении, — а что просто выглядит так, хотя на самом деле является чистой культурной привычкой, давно пережившей причину своего появления. Прямо ответить на этот вопрос невозможно — слишком многое сплетено, и это не разделить на составляющие в реальной жизни. Поэтому я решила сделать предположение иначе: через мысленный эксперимент, убрав из уравнения беременность — саму физическую основу материнства, — и посмотреть, что произойдёт с ролями, ожиданиями и отношениями, когда единственная материальная причина, на которой они держались, вдруг исчезает.

Эта книга — не прогноз будущего. Это скорее увеличительное стекло, направленное не на технологию, а на нас самих: если убрать биологию, что из привычных ролей окажется действительно нужным, а что — просто инерцией, которая продолжает воспроизводиться, потому что никто не удосужился спросить, зачем она вообще здесь.

О НАЗВАНИИ

Слово «присвоение» пришло раньше, чем сложилась книга, и долго вызывало у меня сопротивление. Оно звучит холодно, почти оскорбительно. В нём слышится канцелярия — присвоить разряд, присвоить номер, присвоить категорию. Так не говорят про детей.

Я несколько раз пыталась заменить его на что-нибудь потеплее и каждый раз возвращалась обратно — потому что именно эта холодность и оказалась точной.

Во-первых, в языке книги это официальный термин, и он должен быть неудобным. Государство, распределяющее детей по квотам, не станет называть процедуру «обретением» или «встречей». Оно назовёт её так, как называют любую административную операцию. Герои живут внутри этого слова, привыкли к нему, произносят, не морщась — и в этой привычке, по-моему, больше правды о мире, чем в любом описании порталов.

Во-вторых — и это главное — у слова есть второй смысл, которого я сначала не заметила, а заметив, оставила название окончательным.

Присвоить — значит сделать своим то, что своим не было.

Ровно этим все герои книги и заняты. Няня из «Дома ожидания» присваивает себе ребёнка, которого обязана отдать через три недели. Бабушка из «Бабушкиного вопроса» пытается присвоить внука через выдуманное сходство и в итоге находит другой способ — через переданный рецепт. Трое детей из «Многодетного дома» тридцать лет присваивают друг друга, начав с одной общей даты в документах. Женщина из «Наследства» обнаруживает, что тридцать лет заботы и есть тот механизм, которым мать когда-то присвоила её, а теперь она возвращает то же самое обратно.

Кровное родство даётся даром. Всё остальное приходится присваивать — руками, годами, ежедневной работой, которую никто не считает и не оплачивает.

И третий, последний смысл — тот, ради которого написана финальная глава.

Присвоить можно не только человека. Можно присвоить собственное решение — сделать по-настоящему своим то, что тебе досталось от эпохи, от матери, от общественного давления.

Бабушка из первой главы этого не сумела: она не жалела о самом выборе, она жалела, что выбор был не совсем её. Её внучке через сорок лет достался тот же вопрос, и три недели она потратила ровно на то, чтобы решение оказалось собственным, а не назло кому-нибудь и не из страха перед кем-нибудь.

Это, как мне кажется, и есть самая трудная форма присвоения из всех описанных.

ДВА КОНТУРА

В сборнике мы идём по двум связанным, но разным контурам.

Первый — внутрисемейный. Здесь интересно то, что происходит между супругами и между родителями и детьми, когда исчезает единственная физиологическая асимметрия, на которой веками держалось разделение ролей. Кто хочет ребёнка сильнее — и что происходит, когда это желание распределено неравномерно, но оба партнёра боятся сказать об этом вслух. Как формируется привязанность, если больше нет девяти месяцев общего тела, — что вообще делает человека родителем, если не кровное родство и не роды. Что происходит с ревностью и иерархией между детьми, если сравнение больше нельзя списать на «старшего значит первого» — потому что все дети в этом мире одинаково не связаны кровью с родителями и друг с другом. Как переживает старшее поколение утрату уникального, только женского телесного опыта — и что делать с тоской по тому, чего объективно больше нет, но что субъективно ощущается как потеря. Что происходит с семейными тайнами, если само происхождение ребёнка становится административным фактом, который можно скрыть, исказить, обойти через нелегальные каналы.

Второй — общественный. Здесь мы смотрим на то, как реагирует социум на исчезновение биологического основания гендерных ролей, — и видим, что реакция редко бывает единой. Внутри самого феминизма возникает раскол: одни видят в новом устройстве мира окончательное освобождение от многовекового биологического диктата, другие — новую форму экспроприации уникального женского опыта. Мы смотрим, как идеология переживает свою материальную причину — как культурные ожидания продолжают действовать по инерции даже тогда, когда объяснявший их факт давно исчез, и как это цепляется за формально нейтральные, справедливые на бумаге институты. Мы видим, как старые формы неравенства — классовые, физические, культурные — просто переезжают на новое место, в критерии комиссий, вместо того чтобы исчезнуть вместе с прежней системой. И, наконец, мы смотрим, как меняется сама политика: спор о телесной автономии не исчезает вместе с беременностью, а просто меняет декорации, перемещаясь в область права на отказ, права на возврат, регулирования доступа к порталам как нового инструмента демографической политики.

О ТОМ, ЧЕГО В КНИГЕ НЕТ

Здесь нет злодеев. Ни одного — я убедилась специально.

Комиссия, отказывающая паре из-за инвалидности, действует по методичке, написанной людьми, искренне озабоченными безопасностью детей. Семь семей, отказавшихся от ребёнка с тугоухостью, приняли семь честных решений, каждое из которых имело основания. Инспектор, запустившая процедуру против измученной матери, выполняла регламент, который сама же потом пыталась изменить. Женщина, кинувшая в родительский чат псевдонаучную статью, просто испугалась за сына и обрадовалась, что кто-то назвал её страх вслух.

Это сделано намеренно. Мне кажется, что в реальной жизни вред чаще всего производится именно так — сложением множества разумных частных решений в результат, которого не выбирал никто. Со злодеем было бы проще: его можно уволить. С устройством сложнее — его приходится переписывать по одному пункту за десятилетие, и почти никогда не видно, сработало ли.

Каждый рассказ в этой книге стоит отдельно и может быть прочитан сам по себе. Но все они происходят в одном и том же мире — устройстве которого, если захочется понять его

целиком, лучше всего проясняет история о дне, когда всё началось, и о том, как хаос первых лет превратился в систему, знакомую героям остальных историй.

Ни один рассказ здесь не пытается сказать, что новый мир справедливее или хуже старого. Мне было интереснее другое: показать, что справедливость — не то, что приходит автоматически вместе с новой технологией, убирающей старое неравенство. Она требует того же самого, что требовала и до всякого портала, — постоянного, неудобного, честного разговора между людьми о том, чего каждый из них хочет на самом деле, а не о том, что придумала культура задолго до их рождения.

Глава 1. СВИДЕТЕЛЬНИЦА

Майя пришла к бабушке за два дня до собственного собеседования в Комиссии — не за советом, если честно, скорее за тем неосознанным чувством опоры, какое ищут у людей, повидавших больше, чем ты сама. Людмиле Аркадьевне было восемьдесят три, и она была, насколько знала Майя, последней в семье, кто родился ещё до порталов, — не по рассказам, а собственным телом.

Волнуешься, сказала Людмила Аркадьевна не вопросом, а утверждением, разливая чай.

Волнуюсь. Хочу спросить тебя про самое начало. Не про то, как оно всё устроено сейчас, это я знаю. А как оно вообще появилось. В школе нам всегда рассказывали как-то куце изобрели, распространили, и всё.

Ну, это долгий разговор, сказала бабушка, но у тебя, кажется, есть время.

Мне было двадцать пять, начала Людмила Аркадьевна, когда учредили институт Хорион, слышала это название?

Смутно. Что-то из учебника.

Швейцарский институт репродуктивной биоинженерии, в Женеве. Их разработкой руководила доктор Мириам Ковач, тогда о ней ещё никто толком не знал, кроме узкого научного круга. Занимались они, если совсем просто, не порталами вообще, а искусственной маткой. Понимаешь, не заменить рождение целиком, а помочь недоношенным детям, снизить материнскую смертность, дать шанс тем, у кого не получалось выносить самим. Работа тянулась много лет, деньги были в основном частные, инвесторы нервничали, потому что результата не было.

И как получился портал вместо матки?

Никто до конца не знает, если честно, сказала бабушка, отпивая чай. Я читала потом, спустя годы, разные версии, научно-популярные книги, интервью самой Ковач, и даже она в конце жизни признавала, что ученые не могут воспроизвести именно теоретическое объяснение, только описать сам процесс. Была экспериментальная установка, называлась Хорион-7, где пытались стабилизировать среду для роста эмбриона каким-то полевым методом, что-то про иммунную совместимость, я в этом не специалист. И на одном из прогонов вместо того, чтобы вырастить эмбрион, установка выдала, как это описывали очевидцы, а не научная статья, разрыв, из которого сформировался полностью доношенный младенец. Без девяти месяцев. Без эмбриона внутри вообще, насколько они потом смогли восстановить хронологию.

Майя нахмурилась.

То есть они хотели вырастить ребёнка в пробирке, а вместо этого что, физика какая-то другая сработала?

Вот именно этого никто и не смог до конца объяснить. Есть версия, что они случайно нащупали что-то за пределами обычной физики, какой-то механизм, который сами не понимали и не понимают, а просто научились его запускать и контролировать. Хорион это, кстати, никогда особо не афишировал, засекретили саму суть процесса, патентовали не открытие, а только контроль над установками, чтобы никто не мог повторить без их лицензии. Это уже потом стало важно, почему технология распространялась так медленно и так неравномерно.

А когда объявили официально? спросила Майя.

Через полтора года после Хорион-7, сначала никто не поверил, если честно. Была куча статей, что это рекламный трюк, что не может настоящий научный прорыв выглядеть так, будто из воздуха достали ребёнка. Церкви, кстати, тоже сразу включились, одни говорили, что это дьявольщина, другие, что бог просто дал человеку новый инструмент. Но когда Хорион показал контролируемую демонстрацию, при независимых наблюдателях, всё это быстро смолкло, потому что отрицать очевидное было уже нельзя.

И сразу начали строить порталы повсюду?

Людмила Аркадьевна невесело усмехнулась.

Повсюду, далеко не сразу. Тут начинается не самая красивая часть истории. Оказалось, что для стабилизации портала в промышленных масштабах нужен редкий материал, тессерий, минерал, который добывали почти исключительно в нескольких бедных регионах Африки и Латинской Америки. И вот смотри, как это работало: богатые страны, у кого были деньги на лицензию Хориона и на постройку самих установок, скупали тессерий за бесценок через посреднические корпорации, а порталы строили только у себя. Регионы, где этот минерал добывали, сами не получали ничего. Ни порталов, ни справедливой цены за материал. Только шахты, тяжёлый труд, разрушенная экология.

То есть их эксплуатировали ради технологии, которой они сами не могли пользоваться?

Именно. Лет пятнадцать это продолжалось практически без изменений. Была огромная международная кампания, журналисты, активисты, ООН собирала комиссии. В итоге дожали Всемирное соглашение о равном доступе, оно обязывало передавать технологию и строить порталы во всех регионах, включая те, что добывали тессерий. Но, бабушка развела руками, на бумаге одно, а по факту совсем другое. Даже сейчас, спустя десятилетия, плотность порталов и качество домов ожидания в бедных регионах сильно уступают богатым странам. Формальное равенство есть, а настоящее нет.

А у нас в стране когда появились? спросила Майя.

Через десять лет после Женевы, примерно. Мне было тридцать пять. И вот тут личная часть истории, раз уж ты спрашиваешь. Твоя бабушка, то есть я, она усмехнулась своей формулировке, родила твою маму ещё старым способом, году в двадцать восемь. А второго, дядю твоего Пашу, уже через портал, когда мне было тридцать семь, вскоре после того, как их у нас разрешили.

А почему выбрала портал во второй раз? Ты же уже знала, каково это, по-старому?

Людмила Аркадьевна помолчала, глядя в чашку.

Знала. И, если честно, не всё в этом решении было простым. Врачи тогда уже всю говорили, что естественная беременность, риск, который больше не нужно нести, раз есть безопасная альтернатива: смертность при родах, осложнения, всё то, что раньше просто считалось платой за материнство, вдруг стало выглядеть как что-то почти безответственное, если можно этого избежать. Страховые компании начали поднимать взносы тем, кто рожал по-старому. Работодатели морщились, когда узнавали, что сотрудница беременна естественным путём, не потому что закон запрещал, а потому что это стало непредсказуемым, редким исключением, а редкие исключения всегда пугают начальство больше, чем привычная норма.

А феминистки что говорили? Я читала, что там был раскол.

Был, и серьёзный. Часть женского движения, я сама тогда во многом их разделяла взгляды, говорила: наконец-то, вот оно, освобождение от биологии, от той самой тирании тела, о которой ещё в семидесятых годах писала Файерстоун, слышала про неё?

Немного, по программе.

Вот она за полвека до порталов уже предсказывала: пока размножение привязано к женскому телу, равенства не будет никогда, потому что это тело всегда можно использовать как повод для контроля. И часть женщин восприняла портал именно так, как долгожданное освобождение. А другая часть, как раз наоборот, как отъём. Говорили: у нас отбирают единственное, что веками принадлежало только нам, единственный вид опыта, единственный источник особого авторитета. И, знаешь, обе стороны были по-своему правы. Я до сих пор, если честно, не могу сказать однозначно, на чьей я стороне была тогда до конца.

А правда, что естественную беременность вообще не запрещали, просто она сама исчезла? спросила Майя.

Правда. Никто и никогда не издавал закон беременеть по-старому нельзя. Формально это разрешено до сих пор, в любой стране. Но представь: если тебе почти без всяких рисков дают

ребёнка через год ожидания, а по-старому ты рискуешь здоровьем, репутацией на работе, страховкой, многие ли выберут риск просто из принципа? Ещё и контрацепцию к тому моменту сделали практически бесплатной и повсеместной, каждой девочке к шестнадцати годам предлагали обратимую стерилизацию как рутинную медицинскую процедуру, вроде прививки, на всякий случай, чтобы не думать об этом до тех пор, пока сама не решишь. Так что и та самая хаотичная, непредсказуемая возможность забеременеть, она никуда не делась юридически, но практически перестала происходить, потому что закрылась сама собой, без единого запрета. Просто одно поколение за другим выбирало не рисковать, и лет через тридцать естественная беременность превратилась в редкость, а ещё через двадцать почти в маргинальную практику, которую сохраняют разве что некоторые религиозные общины, куда смотрят примерно так же, как в твоё время смотрят на людей, отказывающихся от прививок.

То есть женщины сами это право сдали?

По большей части да, сами. Но, Людмила Аркадьевна подняла палец, не в вакууме сдали. Экономика подталкивала, страховка подталкивала, работодатели подталкивали, часть собственного же движения подталкивала идейно. Это трудно назвать чистым свободным выбором, и трудно назвать чистым принуждением. Правда где-то посередине, как обычно и бывает.

А сироты? спросила Майя. Мне вот всегда казалось странным, раз каждый ребёнок при рождении вообще ничей, то само слово сирота должно было исчезнуть.

И да, и нет, сказала бабушка. В одном смысле исчезло полностью то, что раньше называли позором: незаконнорождённые, брошенные из-за стыда, дети незамужних матерей. Этого больше нет вообще, потому что происхождение больше не несёт никакого клейма, все дети одинаково начинают путь из дома ожидания. И это по-настоящему хорошо, без всяких оговорок.

Но, она сделала паузу, сироты в старом смысле, те, кто теряет уже назначенных родителей, никуда не делись. Разводы случаются, болезни случаются, несчастные случаи случаются, родители по-прежнему иногда оказываются негодными, и детей забирают органы опеки. Это уменьшилось, потому что случайные беременности и материнская смертность при родах ушла почти в ноль, но не исчезло совсем.

А главное, появилась совершенно новая категория, о которой в твоих учебниках, подозреваю, пишут скупно, потому что это неприятная правда. Если в регионе порталов формируется больше детей, чем местное население способно или готово через Комиссию присвоить, дети просто остаются в домах ожидания дольше положенного, иногда на годы, иногда навсегда. И это, как ты, наверное, уже догадываешься, сильнее всего бьёт по тем же бедным регионам, которые изначально пострадали от неравного доступа к самой технологии.

То есть в бедных странах сирот, наоборот, стало больше?

В абсолютных числах, боюсь, что да, сказала Людмила Аркадьевна тихо. Это не то, чем принято гордиться в официальных отчётах, но это правда. И вокруг этого, кстати, вырос целый теневой рынок, детей из переполненных домов ожидания в бедных регионах нелегально переприсваивают в богатые страны, в обход очереди, за деньги. Слышала, наверное, что-то похожее уже краем уха?

Майя кивнула, вспомнив разговор с подругой про знакомую семью.

А как решили вопрос с наследственными болезнями? спросила она. Я слышала, что раньше это было огромной проблемой.

О, вот это, пожалуй, была самая честная, самая бесспорная победа науки, сказала бабушка, впервые за разговор улыбнувшись без всякой горечи. С самого начала генетический материал, из которого формируется ребёнок в портале, проходит отбор, это было одним из главных аргументов Хориона ещё на первой презентации, даже раньше, чем начали говорить про безопасность родов. Наследственные болезни, которые раньше передавались из поколения в поколение неизбежно, многие из них просто перестали появляться. Целые генетические

заболевания, которые твоя прабабушка застала как страшную, обычную часть жизни, для тебя просто строчка в учебнике истории медицины.

Звучит однозначно хорошо.

Звучит, согласилась бабушка. Но тут началась своя борьба, о которой тоже не любят особо рассказывать. Потому что сразу встал вопрос, а кто решает, что считать болезнью, которую нужно устранить? Движение людей с инвалидностью тогда очень громко и, на мой взгляд, справедливо, восстало против того, что Хорион и государственные комиссии в первые годы отсеивали не только смертельные, мучительные состояния, но и вещи вроде глухоты, некоторых форм аутизма, то есть, по сути, просто человеческое разнообразие, которое не про страдание, а про инаковость. Была долгая, жёсткая борьба, много судов, много публичных скандалов, пока не выработали более взвешенный регламент: устранять то, что напрямую ведёт к тяжёлым страданиям или смерти, но не трогать то, что просто отличается от статистической нормы. Хотя, она пожала плечами, где именно проходит эта граница, до сих пор спорят, и я подозреваю, будут спорить ещё долго.

А ты говорила, что есть ещё что-то про разнообразие, помимо болезней?

Людмила Аркадьевна кивнула, будто ждала этого вопроса.

Есть более тонкая вещь, о которой узнали не сразу. Тот самый генетический материал, из которого портал формирует детей, он ведь берётся не из воздуха в буквальном смысле, а обрабатывается на основе огромных баз данных, накопленных к моменту изобретения. А кто на тот момент был больше всего оцифрован, чьи геномы больше всего изучены и занесены в базы? Богатые страны, конечно, и определённые этнические группы больше, чем другие. Просто потому, что там было больше денег на медицинские исследования до того, как всё это началось. И это, представь, до сих пор аукается, небольшим, но заметным перекосом, своего рода скрытой однородностью в том, что производят порталы, особенно в первые десятилетия. Сейчас над этим целенаправленно работают, стараются расширять и выравнивать базы, но полностью не исправлено до сих пор. Ещё одна вещь, знаешь ли, которая формально решена, а на деле нет.

Майя долго молчала, глядя в остывающий чай.

Слушай, сказала она наконец, а ты вообще ни разу не пожалела? Что тогда, второго, через портал?

Людмила Аркадьевна улыбнулась, не грустно, скорее с той спокойной, немного ироничной теплотой, с которой смотрят назад люди, прожившие достаточно, чтобы не держаться за прошлое слишком крепко.

Знаешь, если честно, иногда жалею не о самом решении, а о том, что решение это было настолько не только моим. Столько всего давило со всех сторон, и страховка, и работа, и подруги, и движение, в которое я тогда верила. Хотелось бы знать, каким было бы моё чистое, ничем не подпёртое желание, без всего этого шума вокруг. Но такого мне уже никогда не узнать, и, боюсь, ни одной женщине из тех, кто рожал после меня, тоже.

Майя взяла бабушкину руку, сухую, тёплую, с той самой мягкостью кожи, какая бывает у людей, проживших долгую, полную жизнь.

А я вот через два дня буду сидеть перед комиссией и, наверное, тоже не до конца пойму, где моё желание, а где то, что вложили в меня заранее.

Скорее всего, согласилась бабушка просто, без утешительной лжи. Так почти всегда бывает. Важно не то, чтобы разложить это до конца на чистое и наносное, такое, кажется, никому не под силу, ни при каком устройстве мира. Важно, хоть иногда спрашивать себя об этом вслух, а не молчать, как я тогда молчала.

Она поставила чайник на плиту ещё раз.

Расскажу тебе, кстати, как непросто было получить разрешение на второго, очередь, комиссия, всё как у тебя сейчас будет, только куда грубее и несправедливее нашей нынешней. Разговор долгий, чайник как раз успеет.

Глава 2. ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР

Первый раз Дарья заметила это за полгода до подачи заявки, не событие, а именно отсутствие события, тонкую деталь, которая тогда показалась незначительной. Они с Глебом гуляли по парку, и мимо прошла пара с коляской; Глеб посмотрел им вслед, не мельком, а долгим, каким-то тоскующим взглядом, задержавшимся на секунду дольше, чем требовалось для простого любопытства. Дарья тогда ничего не сказала. Просто отметила про себя, как отмечают деталь, которая позже пригодится.

Дальше таких деталей накопилось много. Глеб, листая ленту, задерживался на постах друзей про присвоение. Глеб однажды, глядя соседского кота, сказал вслух, ни к кому не обращаясь: хорошо, наверное, когда дома кто-то маленький есть. Глеб, увидев в переходе метро рекламный плакат дома ожидания, младенец в белом одеяльце, надпись ваша семья ждёт вас, замедлил шаг, хотя вообще-то они спешили на поезд.

Сама Дарья таких деталей в себе не находила. Не потому что была против, просто ребёнок как идея существовал для неё где-то в области когда-нибудь, наверное, надо будет, рядом с ремонтом на кухне и накоплениями на новую машину, а не в области жгучего, тоскующего желания, с которым, судя по всему, жил всё это время Глеб.

Разговор случился в апреле, на кухне, за ужином, случайно, Дарья спросила, не хочет ли он добавки, а он вдруг, без всякого перехода, сказал:

Дашь, а давай подадим заявку.

Она замерла с половником в руке.

Ты серьёзно?

Серьёзно. Мне тридцать четыре. Тебе тридцать четыре. Мы шесть лет вместе, у нас всё стабильно, квартира есть. Чего мы ждём?

Дарья поставила кастрюлю, села напротив, чувствуя, как внутри неё одновременно шевелятся два разных чувства, тёплое, потому что видеть Глеба таким открытым и уверенным было приятно, и тревожное, потому что она не была уверена, что чувствует то же самое.

Я боюсь, если честно, сказала она. Не самого ребёнка. А того, что не буду чувствовать того, что вроде как положено. Ты вон весь светишься, когда об этом говоришь. А я нет. И мне от этого немного не по себе.

Глеб взял её за руку через стол.

А не обязательно светиться одинаково. Я готов взять на себя больше в начале, если тебе нужно время, чтобы почувствовать своё. Это же не соревнование, кто сильнее хочет.

Дарья кивнула, хотя внутри осталось смутное, неозвученное беспокойство, что если её своё вообще не придёт, что если она так и останется человеком, который согласился, а не человеком, который захотел.

Они обсудили это ещё несколько вечеров подряд, не абстрактно, а предметно: кто берёт отпуск в первый месяц, как делится ночное дежурство, кто отвечает за визиты к патронажной службе. Договорились: поровну, чередуясь по понедельно. Дарья тогда почувствовала облегчение, договор снимал с неё часть тревоги, потому что превращал неопределённое как получится в конкретное, справедливое распределение, которое можно было держать в руках, как список покупок.

В приёмной Комиссии по присвоению, просторной, светлой, с искусственными фикусами по углам и плакатом на стене, гласившим крупными буквами забота не имеет пола, под которым мелким шрифтом уточнялось: «портал изменил биологию, мы меняем мышление», Дарья в третий раз перечитывала анкету, которую они с Глебом заполнили ещё месяц назад, но которую полагалось иметь при себе на собеседовании, для сверки данных.

Глеб сидел рядом, неестественно прямо, в костюме, который надевал последний раз на похороны тестя, и одёргивал манжеты каждые несколько минут, жест, который Дарья за шесть лет отношений научилась расшифровывать безошибочно: он нервничал так, как не нервничал даже перед защитой диссертации.

Через два кресла от них сидела женщина лет тридцати восьми, одна, без сопровождения, с папкой документов на коленях, которую она держала так крепко, что костяшки пальцев побелели. Дарья невольно подумала, интересно, каково это, проходить через всё это одной, без чужой руки рядом, без возможности переглянуться перед сложным вопросом.

Ты какой-то белый, сказала Дарья, накрывая руку Глеба своей. Дыши.

Я дышу, сказал он и тут же, помолчав, добавил: а если откажут?

Не откажут. У нас всё в порядке с документами, с доходом, с квартирой. Инна Сергеевна же сама сказала на предварительной консультации, стандартный случай.

Глеб кивнул, но манжету одёрнул снова.

Инна Сергеевна оказалась женщиной лет пятидесяти, в строгом синем костюме, с той специфической интонацией уставшей доброжелательности, которая появляется у людей, проводящих одно и то же собеседование по три раза на дню уже пятнадцать лет. На столе перед ней лежал планшет с открытой формой, стандартный протокол Комиссии, единый на всю страну, разработанный, как было указано в шапке документа, в соответствии с принципом гендерно нейтральной оценки готовности к родительству.

Итак, сказала она, не поднимая взгляда от планшета, начнём с базового блока. Дарья Игоревна, расскажите, пожалуйста, как вы представляете себе первый год жизни ребёнка в вашей семье. Кто будет заниматься бытовыми вопросами, кормление, сон, врачи?

Дарья открыла рот, чтобы ответить честно, что они с Глебом обсуждали разделить всё поровну, что оба берут отпуск по уходу на равных условиях, но что-то в формулировке вопроса, обращённого именно к ней, а не к ним обоим, заставило её на долю секунды замешкаться.

Мы поровну, сказала она. У нас обоих гибкий график, мы договорились чередоваться.

Инна Сергеевна кивнула, сделала пометку в планшете, коротко, без комментария, и обратилась к Глебу:

Глеб Андреевич, а вы как оцениваете свою финансовую нагрузку в связи с появлением ребёнка? Готовы ли к дополнительным расходам?

Дарья заметила разницу не сразу, только когда собеседование продлилось ещё минут двадцать, а вопросы продолжали складываться в две отдельные, невидимо разошедшиеся дорожки: ей про быт, эмоциональную готовность, как справляетесь со стрессом, есть ли поддержка старшего поколения; ему про финансы, стабильность работы, как планируете совмещать карьеру с новыми обязанностями, будто у обязанностей был какой-то предустановленный, невидимый список, который автоматически распределялся по анкете в зависимости от того, к кому был обращён вопрос.

А теперь, сказала Инна Сергеевна, откладывая планшет, расскажите своими словами, что вы почувствовали, когда решили подать заявку. Не для протокола формально, а по-настоящему. Комиссии важно понимать эмоциональную готовность, а не только формальные критерии.

Наступила пауза, та самая, о которой Дарья потом будет думать ещё долго, пытаясь понять, в какой момент всё пошло не так, хотя ничего плохого, строго говоря, не произошло.

Глеб заговорил первым, неожиданно для самого себя, судя по тому, как он на секунду замер, будто удивившись собственному голосу.

Я, если честно, он посмотрел на Дарью, будто спрашивая разрешения, и она едва заметно кивнула, я лет с тридцати думаю об этом. Ещё до того, как мы с Дашей познакомились, я уже присматривался, читал форумы, изучал, как работает процедура. У меня, наверное, звучит

странно, но я представлял, как буду читать сказки, как будем гулять по выходным, я даже коляску одну присматривал в интернете, хотя это, конечно, преждевременно было.

Он говорил долго, подробно, с той интонацией, с которой люди рассказывают про давнюю, тщательно выношенную мечту, и Дарья, слушая его, впервые за шесть лет отношений осознала со всей ясностью то, что смутно чувствовала и раньше, но никогда не формулировала прямо: Глеб хотел этого сильнее, чем она. Гораздо сильнее.

Инна Сергеевна слушала внимательно, кивала, делала пометки, но что-то в её лице, в скорости, с которой двигалась ручка по планшету, подсказывало, что запись шла короче, чем заслуживал рассказ.

Спасибо, сказала она, когда Глеб закончил. Дарья Игоревна, а вы?

Дарья почувствовала, как внутри неё что-то сжалось, не от вопроса самого по себе, а от осознания, что настала её очередь, а сказать ей, по сути, было нечего сопоставимого с тем, что только что произнёс Глеб.

Правда заключалась в том, и эта правда была неудобной, потому что Дарья никогда до конца не признавалась в ней даже себе, что идея завести ребёнка изначально принадлежала не ей. Ей было тридцать четыре, ровесницы одна за другой подавали заявки, мать за последний год спросила раз пять, когда уже, подруги на посиделках делились опытом собеседований и домов ожидания с той же интонацией, с какой раньше делились свадебными приготовлениями, и где-то в этом потоке Дарья согласилась, потому что не согласиться означало объяснять, почему не хочет того, чего, по всем негласным правилам, должна хотеть женщина её возраста.

Она любила Глеба. Она была готова заботиться о ребёнке, если он появится, искренне готова, не из-под палки. Но восторга, о котором он только что говорил так подробно, у неё не было. Была скорее спокойная, слегка тревожная готовность, как перед серьёзным, но правильным решением, вроде покупки квартиры в ипотеку.

Я тоже давно об этом думаю, сказала она, и в этот момент почувствовала, как голос предательски выравнивается в ту интонацию, которую, кажется, ожидала услышать Инна Сергеевна, интонацию мягкого, тёплого, безусловного материнского желания. Мне кажется, это самое важное, что может случиться в жизни женщины. Я готова полностью посвятить себя этому.

Глеб посмотрел на неё удивлённо, не осуждающе, скорее с лёгким недоумением, будто не узнал в этих словах ту Дарью, с которой прожил шесть лет и которая накануне вечером, готовясь к собеседованию, сказала ему прямо противоположное: я боюсь, что не буду чувствовать того восторга, который, наверное, полагается чувствовать.

Инна Сергеевна впервые за всё собеседование улыбнулась по-настоящему, тепло, и что-то отметила в планшете, на этот раз длиннее.

Вот это, сказала она, я и хотела услышать.

Она сказала это без всякой иронии, буднично, как констатацию факта.

Они вышли из здания молча. На улице моросил мелкий, безразличный дождь.

Ты чего сказала там? спросил Глеб, когда они дошли до машины. Ты же вчера мне другое говорила. Про то, что боишься.

Дарья остановилась, не открывая дверь.

Испугалась — сказала она честно. Она же сказала бы, что я сопротивляюсь, если бы я сказала правду. А правда была бы, что я не так рвусь, как ты, но я не сопротивляюсь, я просто по-другому это чувствую.

Так надо было это и сказать, тихо сказал Глеб. А не то, что она хотела услышать.

А ты сам заметил, спросила Дарья, что она у тебя спрашивала про деньги и работу, а у меня про чувства? Как будто заранее решила, кто из нас должен хотеть, а кто обеспечивать. При этом ты хочешь сильнее меня, а обеспечиваем мы оба поровну. Она просто не заметила даже, что спрашивает не так, как написано у неё же на плакате в приёмной.

Глеб молчал, обдумывая, и по его лицу было видно, что мысль эта, очевидная задним числом, не приходила ему в голову ни разу за всё собеседование.

В воскресенье они поехали к матери Дарьи на обед, традиция, от которой не отвертеться, даже накануне важных новостей. Галина Петровна, разливая борщ, спросила без предисловий:

Ну что, был у вас поход в комиссию? Одобрели?

Ждём ответа, сказала Дарья. Недели через две скажут.

А отпуск ты уже оформляешь? спросила мать, глядя на дочь, будто вопрос был чисто риторическим. Тебе же в первые месяцы дома надо быть, это самое важное время для привязанности, я читала.

Мы с Глебом решили чередоваться, сказала Дарья. По неделе каждый.

Галина Петровна замолчала на секунду, явно не ожидав такого ответа, потом посмотрела на Глеба, будто ища подтверждения, что дочь шутит.

Ну, это, конечно, современно всё, сказала она, но ребёнку ведь важно, чтобы кто-то один был основным, постоянным. Мужчины же не чувствуют так тонко, как мы, извини, Глеб, я не в обиду.

Мам, сказала Дарья твёрже, чем собиралась, там же нет уже никакой биологии. Ни у меня, ни у него нет никакого преимущества чувствовать тоньше. Мы оба будем учиться заново, оба одинаково чужие ему в первый день.

Мать пожала плечами, всем видом показывая, что осталась при своём мнении, но спорить дальше не стала. Дарья, наливая себе компот, поймала взгляд Глеба, усталый, но благодарный: впервые за день кто-то защитил их договор вслух, а не просто согласился с ним внутри себя.

Одобрение пришло через одиннадцать дней, короткое электронное письмо, с номером дела и датой визита в дом ожидания номер четырнадцать. Дарья читала его дважды, чувствуя странную смесь облегчения и неловкости, облегчения, что заявку одобрили, и неловкости оттого, что одобрили её, кажется, не благодаря честности, а благодаря тому, что она вовремя вспомнила нужный сценарий.

Вечером, когда они сидели на кухне, обсуждая список вещей, приложенный к письму, Глеб вдруг сказал, отложив список в сторону:

Слушай, а давай так. Когда приедем, я хочу первым взять её на руки. Не потому что мне положено меньше, чем тебе, а потому что мне давно хотелось. А ты потом, сколько захочешь, столько и будешь держать, или вообще не сразу, если не готова, без всякого протокола, просто как нам самим удобно.

Давай, сказала Дарья. И знаешь, я, наверное, на следующем собеседовании, по патронажу там, или что там дальше положено, скажу как есть. Хватит врать ради галочки в форме.

Дом ожидания номер четырнадцать оказался светлым зданием на окраине района, больше похожим на детский сад, чем на больницу, с игровой комнатой в холле, приглушённым, тёплым освещением и сотрудницей, встретившей их у входа с той же профессиональной, отработанной за годы мягкостью, что и Инна Сергеевна, только без канцелярского оттенка.

Она у нас спокойная, хорошо ест, сказала сотрудница, ведя их по коридору. Три недели уже с нами, всё это время имя не присвоено, вы первые, кто её увидит после медицинской проверки.

В комнате, куда их привели, пахло детской присыпкой и чем-то ещё, неопределимым, тёплым. В кровати у окна лежала девочка, Дарья не успела рассмотреть черты лица, только заметила крохотные пальцы, сжатые в кулачки, и то, как она хмурила брови во сне, будто уже сейчас была чем-то серьёзно недовольна.

Глеб подошёл первым, как договаривались, взял её на руки неловко, дрожащими руками, и замер, глядя на неё сверху вниз с таким выражением лица, какого Дарья не видела у него никогда за шесть лет вместе.

Привет, сказал он тихо, почти неслышно. Мы тебя ждали.

Дарья стояла в стороне, наблюдая, и ждала того самого страха, который носила в себе всё это время: что она посмотрит и не почувствует ничего, что восторг, положенный по сценарию, снова не придёт, и она снова будет играть роль вместо того, чтобы её проживать.

Но когда Глеб, спустя минуту, повернулся к ней и осторожно, спрашивающим движением протянул девочку, не потому что настала её очередь по расписанию, а потому что увидел, как Дарья тянется сама, неосознанно, всем телом, что-то внутри неё действительно случилось. Не гром, не восторг из книжек. Скорее тихое, тяжёлое, физическое узнавание, будто она держала что-то, что уже давно, ещё до всякого собеседования, было её делом, просто дело это молчало и ждало своего часа, не предупреждая заранее, как оно будет ощущаться.

Привет, сказала она, и голос дрогнул уже не от притворства, а от того самого настоящего, которого она так боялась не найти в себе.

Как назовём? спросил Глеб.

Дарья посмотрела на нахмуренные во сне брови, на упрямо сжатые кулачки.

Ева, сказала она. Как первая. Мне кажется, ей подходит, она тут первая для нас, что бы ни было до неё у кого угодно ещё.

Через месяц, на работе, начальник отдела, узнав, что Глеб берёт отпуск по уходу на вторую неделю после Дарьи, спросил с той полушутливой интонацией, за которой обычно прячется настоящее недоумение:

А что, жена не справляется одна? Может, ей просто помощницу нанять, а ты бы работал спокойно?

Глеб, рассказывая об этом вечером Дарье, пожал плечами, не обиженно, скорее устало.

Я объяснил, что мы так решили вдвоём. Он покивал, но видно было, не понял, зачем мужчине это вообще может быть нужно, если можно нанять кого-то.

Дарья взяла его за руку.

Люди ещё долго не привыкнут, наверное. Мы тоже привыкали.

Ева заворочалась в кровати рядом, всхлипнула коротко и снова затихла, ещё не зная ни про комиссии, ни про протоколы, ни про то, сколько невидимых, доставшихся по наследству ожиданий пришлось разобрать её родителям, прежде чем они смогли просто, без сценария, решить, кто сегодня встаёт ночью.

Глава 3. ДОМ ОЖИДАНИЯ

В шесть утра Дом ожидания №14 пах молочной смесью и хлоргексидином, запах, который Вера Николаевна за одиннадцать лет работы перестала замечать так же, как перестают замечать тиканье собственных часов. Она обходила палаты по одной и той же траектории: сначала блок новорождённых, потом «долгосрочные» - так между собой сотрудники называли детей, чьё присвоение почему-то затягивалось дольше стандартных трёх-четырёх недель.

Дома, в собственной квартире на другом конце города, Веру не ждал никто, муж ушёл семь лет назад, детей своих у неё не было, подавать заявку одной она в своё время не решилась, хотя думала об этом не раз. Иногда, возвращаясь после смены в тишину пустой кухни, она ловила себя на мысли, что вся её способность любить кого-то маленького и беззащитного нашла себе применение именно здесь, растянутая на сотни коротких, заранее обречённых на разлуку историй, вместо одной длинной.

Тёма был из долгосрочных. Одиннадцать недель - рекорд для их пункта за последние два года, хотя формально ничего страшного не случилось: просто заявка родителей, стоявшая первой в очереди, забуксовала на этапе финансовой проверки, а вторая пара после собеседования сама отказалась, ничего не объяснив, что тоже иногда случалось и о чём в протоколах писали сухо «заявитель снял заявку».

Вера подошла к его кровати и, прежде чем взять на руки, привычно произнесла вслух — не для него, скорее для себя, ритуал, выработавшийся за годы: «Доброе утро, мужчина». Тёма завозился, недовольно свёл брови — он всегда просыпался с этим выражением, будто заранее не одобрял наступивший день, — и тут же затих, стоило ей взять его на руки.

Правило в Доме ожидания формулировалось коротко, но именно поэтому запоминалось хуже, чем длинные инструкции: «Ротация — раз в десять дней». Сотрудников намеренно перемешивали между палатами, чтобы ни ребёнок, ни воспитатель не успевали привязаться сверх меры. Ирина Павловна, старшая по смене, объясняла это новичкам всегда одной и той же фразой, явно вынесенной из методички: «Мы не родители. Мы мост. Хороший мост не должен быть интереснее берега, к которому ведёт».

С Тёмой ротация не сработала — из-за нехватки персонала в тот месяц, из-за больничного двух сотрудниц, из-за банального стечения обстоятельств Вера оставалась в его палате почти без перерыва пять недель подряд. Она заметила момент, когда правило перестало быть просто правилом, а стало чем-то, что нужно было сознательно нарушать усилием воли, — примерно на третьей неделе, когда Тёма впервые улыбнулся не в пустоту, а конкретно ей, поймав её взгляд и удержав его на секунду дольше, чем требуется просто для физиологического рефлекса.

— Ты же понимаешь, что это ничего не значит с его стороны, — сказала ей Ирина Павловна как-то в коридоре, без осуждения, скорее с усталой заботой человека, повидавшего таких, как Вера, десятки раз. — В этом возрасте они улыбаются всем подряд, кто рядом теплее батареи. Это не про тебя лично.

— Я знаю, — сказала Вера. И знала, действительно. Знание, впрочем, ничего не меняло в том, что происходило внутри неё каждый вечер, когда она укладывала Тёму спать и на пороге оборачивалась ещё раз, хотя оборачиваться не полагалось — это тоже было в правилах, «уходить, не оборачиваясь, чтобы не провоцировать протестную реакцию привязанности».

— Тебя, кстати, уже второй раз за месяц просят перевести в другой блок, — добавила Ирина Павловна, помолчав. — Ты отказываешься. Я подписываю твои отказы, потому что понимаю, что происходит, но я не могу вечно закрывать на это глаза. Если станет тяжелее прощаться — скажи сразу, не жди, пока накроет.

— Ещё немного, — попросила Вера. — Ему и так тяжело, что задержался дольше остальных. Пусть хоть лицо не меняется всё это время.

У неё был свой способ держать дистанцию, отработанный годами: она никогда не звала детей по будущему, присвоенному имени, только по тому временному коду, что стоял в карте, — до Тёмы это, впрочем, всегда получалось легко, потому что дети редко задерживались настолько, чтобы временный код вообще успевал стать чем-то личным. С Тёмой она однажды, устав от того, что весь персонал зовёт его просто «мальчик из седьмой», начала называть его именем, которое сама придумала, — не для документов, для себя. Тёма. Она даже не помнила точно, откуда взялось это имя, — кажется, так звали соседского кота в её детстве.

Она напевала ему одну и ту же колыбельную перед сном — не потому что была особенно музыкальна, просто мать когда-то пела эту же самую ей, и мелодия всплыла сама собой в первую бессонную ночь, когда Тёма никак не мог уснуть, а Вера, вместо того чтобы позвать сменщицу, осталась сверхурочно, хотя это тоже было против правил. К пятой неделе Тёма затихал от первых же тактов этой мелодии быстрее, чем от чего-либо ещё в арсенале персонала, — сотрудницы соседней палаты уже приходили специально послушать, как это работает, называя это между собой «фирменным методом Веры Николаевны».

На восьмой неделе пришло письмо — заявка наконец прошла все проверки, семья утверждена, дата визита назначена на понедельник через две недели. Вера прочитала уведомление на служебном планшете и почувствовала два одновременных, будто конкурирующих чувства: облегчение, настоящее, профессиональное, за Тёму — у него теперь будет дом, будут родители, будет жизнь за пределами этих стен, — и что-то другое, тяжёлое, почти постыдное по своей природе, чему она не сразу решилась дать название даже про себя.

Она позвонила сестре тем же вечером — не за советом по работе, просто чтобы выговориться, потому что с коллегами об этом говорить было не принято, а молчать сил больше не было.

— Понимаешь, — сказала она сестре, — я одиннадцать лет это делаю, сотни детей через меня прошли. И всегда была грусть, когда прощаешься, это нормально. Но в этот раз я поймала себя на мысли — гадкой мысли, — что не хочу, чтобы приходил понедельник. Что хочу, чтобы заявка снова забуксовала где-нибудь. Это же ужасно, да? Я хочу, чтобы у ребёнка не было семьи, лишь бы подольше побыть со мной.

— Это не ужасно, — сказала сестра после паузы. — Это по-человечески. Ты же не хочешь ему зла на самом деле. Ты просто не хочешь терять то, что успела полюбить. Это разные вещи. Слушай, а ты не думала когда-нибудь сама подать заявку? Не понянчиться на месяц, а насовсем?

— Думала, — призналась Вера. — Каждый раз думаю, если честно. И каждый раз понимаю, что если однажды перестану возвращать их обратно в жизнь, а начну оставлять себе, — я перестану быть тем, кем нужна именно здесь. Кто-то же должен быть мостом.

Вера долго молчала в трубку после этих слов, чувствуя, как к горлу подкатывает то, что не позволяла себе на работе, — не потому что не могла, а потому что там всегда был кто-то, кому в этот момент требовалась её ровность больше, чем ей самой требовалось её собственное горе.

Понедельник наступил, как и должен был, без всякой отсрочки. Семью звали Оксана и Артём — молодые, лет по тридцать, оба заметно нервничавшие сильнее, чем полагалось бы людям, уже прошедшим комиссию. Оксана держала в руках новенькую переноску с биркой ещё от магазина, не срезанной, — маленькая деталь, которую Вера отметила про себя с тем особым вниманием, с каким читают чужое волнение по мелочам.

— Он у нас спокойный, хорошо ест, — сказала Вера, повторяя стандартную вводную фразу, которую произносила при каждой передаче ребёнка, но в этот раз голос предательски дрогнул на середине. — Засыпает под одну мелодию, я вам сейчас напою, если хотите записать.

Она напела колыбельную дважды — медленно, чётко проговаривая каждую строчку, — пока Артём записывал на телефон, а Оксана слушала, кивая, явно уже готовясь применить это знание сегодня же ночью.

— А он вообще... — Оксана замялась, подбирая слова, — привязывается к кому-то здесь? Ну, я имею в виду, будет ли ему тяжело, что вас больше не будет рядом?

Вопрос был задан без всякого злого умысла, простое родительское беспокойство, — но именно от его прямоты Вере пришлось на секунду отвернуться, будто поправляя что-то в кровати, чтобы дать лицу время справиться с собой.

— Дети в этом возрасте адаптируются быстро, — сказала она ровным, профессиональным голосом, тем самым, которым говорила это уже сотни раз прежде. — Через неделю он будет знать ваши голоса лучше, чем моё лицо. Так и должно быть.

Это была правда, и Вера в неё верила — верила профессионально, годами наблюдая, как это работает на практике. Но произнести это вслух в этот конкретный понедельник стоило ей усилия, которого хватило бы на смену вдвое длиннее обычной.

Она передала Тёму на руки Артёму — по протоколу первым ребёнка всегда принимал тот из родителей, кто стоял ближе, — и разжала пальцы медленнее, чем следовало бы, на долю секунды дольше необходимого. Тёма, почувствовав смену рук, недовольно свёл брови, тем самым знакомым движением, с которым просыпался каждое утро, — и на мгновение показалось, что вот сейчас заплачет, вот сейчас всё сорвётся, — но не заплакал, просто уставился на новое лицо с тем же спокойным, изучающим любопытством, с каким смотрел на всё вокруг.

— Спасибо вам, — сказала Оксана, и в её глазах Вера увидела не равнодушие, которого немного опасалась, а настоящую, простую благодарность человека, понимающего лишь часть того, через что только что прошла женщина перед ней, но искренне тронутого хотя бы этой частью.

Вера кивнула, не доверяя своему голосу настолько, чтобы отвечать словами. Ирина Павловна, стоявшая у входа, молча положила руку ей на плечо — не как начальница, просто как человек, видевший это уже много раз и знавший, что в такие минуты слова только мешают.

После их ухода Вера поднялась на служебный этаж, где хранились архивные карты, и по давней, никем не санкционированной привычке нашла в общей папке фотографию девочки, которую отдавали пять месяцев назад, — тоже долгосрочную, тоже с трудным расставанием. Ева, вспомнила она. Дарья и Глеб её увезли, кажется. На фотографии в архиве Ева хмурилась совсем не так, как Тёма, — свой собственный, отдельный набор гримас, — и всё же было что-то общее между этими карточками: перечень имён, дат, коротких пометок сотрудников, за каждой из которых стояли недели чьего-то незаметного, никем особо не признаваемого труда — не просто ухода, а самой настоящей любви, у которой заранее назначен срок годности.

Через два года, в июне, на ресепшене Дома ожидания появилась женщина с мальчиком лет двух за руку — Вера не сразу узнала обоих, потому что дети в этом возрасте меняются стремительно, а лицо матери помнилось смутно, лишь как одно из десятков похожих лиц за годы работы.

— Вы Вера Николаевна? — спросила женщина. — Мне сказали на входе. Мы, наверное, вас не помним, а вот я хотела просто... — она замялась. — Мы Тёму пришли записывать в очередь на второго, и я вдруг подумала, что вы, может, до сих пор здесь работаете, и что надо было хотя бы раз сказать спасибо не формально, а по-настоящему. Он до сих пор, когда не может уснуть, просит спеть ту песню — мы её так и не смогли повторить точно, честно говоря, но пытаемся.

Тёма — уже не Тёма, судя по всему, а какое-то другое, настоящее имя, которое Вера постеснялась переспрашивать, — смотрел на неё снизу вверх с обычным детским равнодушием к взрослым разговорам, не узнавая, разумеется, ни лица, ни голоса, ни тем более той женщины,

что одиннадцать недель была для него всем миром, прежде чем этот мир по всем правилам, законно и справедливо, стал принадлежать кому-то другому.

Вера присела на корточки, оказавшись с ним на одном уровне, и тихо, вполголоса, напела первую строчку — ту самую мелодию, что мать когда-то пела ей самой, а она — одиннадцати неделям чужого, ставшего родным по чьей-то счастливой случайности мальчика.

Тёма перестал вертеться и на секунду замер, вслушиваясь, — без всякого узнавания, просто потому что в мелодии было что-то, что тело помнило лучше, чем помнила голова.

— Надо же, — сказала мать удивлённо. — Он затих. Обычно он на улице ни на кого не реагирует так.

Вера ничего не ответила на это — просто улыбнулась, поднялась с колен и пожелала им удачи с очередью на второго, зная то, чего не могла и не собиралась объяснять этой женщине: что мост, о котором говорила когда-то Ирина Павловна, не перестаёт быть частью пути только потому, что идущий по нему не помнит, как выглядели доски под ногами.

Глава 4. ОДНА

Расставание с Максимом случилось четыре года назад. Не громко, без криков и битой посуды, а тихо, как будто оба одновременно поняли, что дальше двигаться некуда, и просто перестали делать вид, что это не так. Инге тогда было тридцать два. Максим хотел ребёнка «когда-нибудь потом», Инга слышала в этом «потом» не осторожность, а нежелание, замаскированное под благоразумие, — и в какой-то момент устала ждать, когда неопределённое «потом» превратится в конкретное «да».

— Ты как будто хочешь ребёнка больше, чем меня, — сказал он ей однажды, вроде бы в шутку, но с той обидой в голосе, которая шутками не прикрывается до конца.

— Может быть, — ответила она тогда честно, и этот ответ, кажется, и стал началом конца.

С тех пор она не спешила заводить новые отношения — не потому что зареклась, а потому что обнаружила в одиночестве качество, которое прежде недооценивала: спокойствие собственного темпа, право решать, не сверяясь ни с чьим настроением.

На собеседовании по недвижимости, за полгода до подачи заявки, Инга впервые вслух произнесла то, что до этого момента существовало только внутри неё, размытым, ещё не оформленным намерением: «Мне нужна отдельная детская, я подаю на присвоение одна». Риелтор — женщина лет пятидесяти, вполне доброжелательная — на секунду замялась, будто ослышалась, а потом сказала со странной, чуть извиняющейся улыбкой: «Ой, ну надо же, как современно. А партнёра пока нет, или?..»

Идея подать заявку одной пришла не внезапно — вызревала месяцами, среди чертежей на работе, среди случайных мыслей по дороге домой. Инга была архитектором, вела крупный проект жилого квартала на окраине города — комплекс из четырёх домов с общим двором, детскими площадками, продуманными так, чтобы соседи волей-неволей встречались и знакомились. Работая над планировкой одной из площадок, она поймала себя на мысли, что проектирует пространство для семей, которых у неё самой пока не было, — и вместо привычной грусти почувствовала азарт: она сама решит, каким будет её собственное пространство, без чужого одобрения архитектурного совета.

Формальных препятствий, как ей объяснили ещё на этапе консультации, не существовало вовсе — закон о присвоении был написан гендерно и семейно нейтрально с самого начала, задолго до того, как Инга родилась. Одиночество заявителя в документах не значилось никаким недостатком.

Мать узнала о решении дочери за воскресным обедом — Инга сообщила об этом между супом и вторым, стараясь произнести это буднично, без пафоса, чтобы разговор прошёл мимо той тяжести, которую она предчувствовала.

— Одна? — переспросила Галина Тимофеевна, откладывая ложку. — Дочь, я тебя, конечно, поддержу, что бы ты ни решила, но... ты подумала, как это будет физически? Ночью встать, утром на работу, а если заболит? Раньше хоть муж мог подхватить, если что.

— Мам, я найму помощницу, если понадобится, — сказала Инга. — И потом, у Оксаны с Артёмом двое, я слышала, как они друг друга обвиняют, кто чаще встаёт ночью, — так что не факт, что партнёр автоматически означает помощь, а не ещё один конфликт вдобавок к ребёнку.

— Ну это ты утрируешь, — сказала мать, но спорить дальше не стала, хотя по выражению лица было видно, что осталась при своём.

Максим написал ей неожиданно, через общего знакомого узнав про заявку, — короткое сообщение: «Слышал новость. Ты серьёзно решила? Может, обсудим, я бы мог помочь советом, я всё-таки думал об этом когда-то». Инга долго смотрела на это сообщение, чувствуя странную смесь раздражения и почти сострадания к человеку, который четыре года назад не

смог сказать «да» вовремя, а теперь предлагал «совет» — будто без него она не справится с решением, которое выносила и приняла целиком самостоятельно.

Она ответила коротко: «Спасибо, я справляюсь сама» — и отключила уведомления от этого чата, чувствуя, как с каждым таким небольшим отказом внутри крепнет что-то, чего не было в ней четыре года назад.

На работе реакция была мягче, но по-своему показательнее. Коллега из соседнего отдела, узнав новость в курилке, спросил без всякой задней мысли, чисто из любопытства: «А от кого ребёнок-то, если не секрет?» — и Инга не сразу нашлась, как объяснить, что вопрос вообще не имеет смысла в мире, где детей формирует портал из обезличенной базы, а не конкретный второй родитель. Она сказала просто: «Ни от кого. От меня одной, если так вообще можно сказать» — и коллега, кажется, так до конца и не понял ответа, хотя формально его прекрасно знал из школьной программы.

Ей регулярно, из лучших побуждений, предлагали познакомиться то с чьим-то братом, то с коллегой из другого отдела — «пока ещё не поздно передумать», как формулировала это одна из подруг, будто заявка была билетом в один конец, а не осознанным выбором. Инга улыбалась в ответ, благодарила за заботу и ни разу не согласилась ни на одно знакомство, устроенное с этой конкретной, невысказанной целью.

Собеседование в комиссии прошло на удивление гладко — сотрудница, женщина строгого вида по фамилии Крамова, задавала стандартные вопросы про финансовую стабильность, жилищные условия, планы на детский сад, — но в середине разговора всё же спросила, чуть мягче обычного, будто из личного, а не протокольного любопытства:

— А вам не тяжело будет одной? Без поддержки партнёра?

— У меня есть мама, есть подруги, есть возможность нанять помощь, — сказала Инга ровно. — И потом, простите, но вы ведь не задаёте этот вопрос парам? Хотя у половины пар, которых я знаю, поддержки друг от друга не больше, чем я получаю от подруг.

Крамова секунду помолчала, потом кивнула — не то соглашаясь, не то просто фиксируя ответ в форме, — и разговор пошёл дальше по стандартной колее.

Одобрение пришло через три недели. В приёмной Дома ожидания, куда Инга приехала в назначенный день одна, без сопровождения — что тоже, судя по паре сочувственных взглядов персонала, было редкостью, — она села рядом с другой женщиной, тоже без пары, лет тридцати пяти, тоже листавшей документы с той же смесью волнения и решимости.

— Тоже одна? — спросила соседка, кивнув на пустое кресло рядом с Ингой.

— Одна, — подтвердила Инга.

— Я две очереди пропустила, честно говоря, пока набралась духу подать, всё ждала, вдруг кто-то появится, — сказала женщина с невесёлой усмешкой. — А потом подумала — а зачем ждать чужого решения, чтобы принять своё?

Инга кивнула, узнавая в этих словах что-то очень знакомое из собственных долгих месяцев колебаний.

Девочку называли Асей. Первые недели дались тяжело — не потому что Инга оказалась не готова, а просто потому что готовиться теоретически и справляться на практике всегда разные вещи, и ночью, когда Ася плакала в третий раз подряд, Инга иногда ловила себя на мимолётной, усталой мысли: как было бы, если бы сейчас можно было растолкать кого-то рядом и сказать «твоя очередь».

Мысль проходила так же быстро, как приходила, — Инга успевала напомнить себе, что «твоя очередь» в реальных парах вокруг неё звучало едва ли реже, чем вздохи облегчения от того, что делить не с кем, а значит, и спорить не с кем, и виноватой оставаться не перед кем, кроме себя самой.

Мать, вопреки первоначальным сомнениям, оказалась той самой поддержкой, которую Инга и обещала комиссии, — приезжала по субботам, оставалась на ночь, если требовалось, и однажды, укладывая Асю, вдруг призналась дочери:

— Знаешь, я ведь тоже одна тебя во многом растила, хоть отец формально и был рядом. Он в командировках пропадал месяцами. Так что, может, я зря тогда испугалась за тебя больше, чем нужно, — я примерно то же самое прошла, только без формальной галочки «одна» в документах.

Через полгода на детской площадке, куда Инга вывезла Асю в коляске впервые самостоятельно, к ней подошла соседка по двору — женщина её возраста, с двумя детьми на площадке, — и, покачивая коляску младшего, спросила буднично, без всякого подтекста:

— А муж ваш чем занимается? Просто вижу вас всё время одну гуляете.

— У меня нет мужа, — сказала Инга спокойно, уже без той внутренней подготовки, которая требовалась ей полгода назад для похожего ответа. — Я подавала заявку одна.

— Ой, извините, — смутилась соседка. — Не думала, что так вообще делают.

— Делают, — сказала Инга, поправляя одеяло на Асе. — И, знаете, у нас всё в порядке. Просто по-другому устроено, чем у вас, вот и всё.

Соседка кивнула, ещё немного растерянная, но уже без прежней неловкости в лице, — и разговор плавно перетёк на то, какая сегодня хорошая погода для прогулки.

Когда Асе исполнилось четыре, в детском саду на утреннике родителей попросили встать парами для конкурса — «мама и папа». Инга на секунду замерла у входа в зал, не зная, как объяснить организаторам ситуацию, не превращая это в неловкую сцену перед всеми. Воспитательница, заметившая заминку, быстро сориентировалась и объявила конкурс «взрослый и ребёнок» вместо «мама и папа» — небольшая правка, которую, кажется, никто, кроме Инги, толком не заметил, но которая сняла с неё тяжесть одним точным словом.

После утренника Ася, уставшая и счастливая, уснула в машине по дороге домой. Инга, ведя машину в тишине, поймала себя на мысли, что за четыре года ни разу всерьёз не пожалела о своём решении — не потому что было легко, а потому что трудности, с которыми она сталкивалась, всегда ощущались как её собственные, решаемые её собственными силами, а не как расплата за неправильный выбор.

На дне рождения университетской подруги, куда Инга выбралась впервые за долгое время без Аси, оставив её с матерью, разговор за столом неизбежно свернул к личной жизни присутствующих. Одна из гостей, знавшая Ингу шапочно, спросила с искренним, но неловким любопытством:

— А ты вообще не жалеешь, что решилась одна? Не страшно было?

— Страшно было каждый раз, когда я об этом думала заранее, — честно ответила Инга. — А когда решилась и сделала — страх куда-то делся, осталась просто жизнь, в которой надо разбираться по ходу дела, как и у всех.

— А не одиноко? — спросила гостя тише, будто этот вопрос был более личным, чем предыдущий.

Инга задумалась, прежде чем ответить, — вопрос был честным, и заслуживал честного ответа, а не отработанной защитной фразы.

— Иногда одиноко, — призналась она. — Особенно вечерами, когда Ася уже спит, а не с кем обсудить, как прошёл день. Но это одиночество другого рода, чем то, что я чувствовала в последний год с Максимом, когда рядом был человек, а ощущение было ровно таким же — будто не с кем поговорить по-настоящему. Так что я не уверена, что партнёр автоматически спасает от одиночества. Иногда наоборот, только маскирует его.

Гостя кивнула медленно, будто примеряя эти слова на собственную, не самую простую историю отношений, а разговор плавно перетёк на другую тему, оставив в воздухе то самое,

редко проговариваемое вслух признание: одиночество и партнёрство — куда более независимые друг от друга вещи, чем принято считать.

Возвращаясь домой поздно вечером, Инга застала мать за чтением на диване — Ася давно спала, а Галина Тимофеевна, судя по всему, решила дожидаться дочь, чтобы не уезжать сразу.

— Ну как посидели? — спросила мать, откладывая книгу.

— Хорошо, — сказала Инга, снимая туфли. — Спрашивали, не жалею ли я о своём решении.

— И что ты ответила?

— Что не жалею. Что бывает тяжело, но по-другому тяжело, чем было бы, если бы я и дальше ждала кого-то, кто, может, никогда бы и не появился вовремя.

Галина Тимофеевна помолчала, глядя на дочь с той смесью гордости и застарелой тревоги, что свойственна матерям, отпустившим детей во взрослую, не всегда понятную им самим жизнь.

— Я, кажется, тобой горжусь, — сказала она наконец, немного неловко, будто такие слова давались ей нечасто. — Даже если я до сих пор не всё понимаю в том, как ты живёшь.

— Этого достаточно, мам, — сказала Инга, обнимая её на прощание у двери.

Глава 5. ОЦЕНКА

Авария случилась пять лет назад, в марте, на обледенелой трассе за городом, — Настя тогда возвращалась с работы, машину занесло на повороте, и следующее, что она помнила по-настоящему ясно, было уже больничная палата и голос врача, произносящий слова «травма спинного мозга» тем особым, отработанным тоном, каким сообщают вещи, после которых жизнь делится на «до» и «после».

Первый год дался тяжелее всего — не столько физически, сколько внутренне: пришлось заново учиться не только пользоваться креслом, но и справляться с чужими взглядами, с тем особым сортом жалости, которая иногда ранит сильнее прямой грубости. Настя помнила, как в реабилитационном центре сосед по палате, тоже недавно оказавшийся в кресле, сказал ей однажды: «Знаешь, самое трудное не само кресло. Самое трудное — привыкнуть, что теперь все смотрят на тебя сначала как на диагноз, и только потом, если повезёт, как на человека». Она тогда не до конца поняла эти слова, а через несколько месяцев поняла слишком хорошо.

Дима появился в её жизни через два года после аварии, уже когда она — по её собственным словам — «перестала быть проектом реабилитации и снова стала просто собой». Он никогда не воспринимал её кресло как повод для скидок или снисхождения, и, возможно, именно поэтому она впервые за долгое время почувствовала себя не «преодолевающей», а просто — живущей.

Познакомились они на курсах кулинарии, которые Настя начала посещать назло всем, кто убеждал её, что «с коляской на кухне делать нечего». Дима, записавшийся туда случайно, за компанию с другом, сначала предложил ей помощь донести противень до стола — обычную, ничем не примечательную помощь, — а когда она вежливо, но твёрдо отказалась, объяснив, что справится сама, не обиделся и не начал настаивать, а просто сказал: «Хорошо, тогда я, если что, рядом постою, вдруг что уронится». Эта простая, ненавязчивая готовность быть рядом без попытки взять на себя её самостоятельность запомнилась Насте больше, чем любые галантные жесты, которые ей доводилось получать раньше.

Настя перекладывала документы на коленях, пока Дима толкал её кресло по коридору Комиссии, — папка, страховой полис, справка о доходах, распечатанный план перепланировки квартиры под нужды ребёнка, который они готовили три месяца, консультируясь с проектировщиком доступной среды. Настя знала эту папку наизусть, каждый лист, каждую подпись, — знание, за которым стояла не просто аккуратность, а хорошо усвоенный за пятнадцать лет опыт: когда тебя оценивают по умолчанию строже, лучше приходить подготовленной вдвое.

Собеседование вела женщина по фамилии Гринько — доброжелательная, вроде бы искренне доброжелательная, что делало разговор сложнее, а не проще, потому что открытую предвзятость легко распознать и оспорить, а вот мягкую, укутанную в заботу — почти невозможно.

— Настя, а вы подумали, как будете справляться физически? — спросила Гринько, листая документы. — Ну, я имею в виду бытовые вещи — искупать ребёнка, поднять на руки, если упадёт, побежать, если он вдруг куда-то рванёт.

— У нас переоборудованная ванная, специальная система для купания, — ответила Настя ровно, доставая нужный лист из папки. — Что касается «побежать» — у нас есть план, Дима отвечает за активные игры на улице, я — за всё, что не требует бега. Дети вообще-то довольно быстро учатся, где чья зона ответственности, если объяснить честно, а не скрывать.

Гринько кивнула, сделала пометку, но следующий вопрос прозвучал в той же логике:

— А вы не боитесь, что ребёнок будет... как бы сказать... стесняться? В садике, в школе, когда мама на коляске?

Дима, до этого молчавший, не выдержал:

— А вы у родителей с лишним весом спрашиваете, не будет ли ребёнку стыдно за их фигуру? Или у родителей без машины — не будет ли ребёнку стыдно, что его не подвозят, как остальных?

Гринько слегка порозовела, явно не ожидав такого прямого сопротивления, — и быстро сменила тему, но пометку в форме, судя по скорости движения ручки, всё же успела сделать.

— Формально мы гендерно и физически нейтральны, — сказала им в конце Гринько, закрывая планшет. — Но, честно скажу, у комиссии есть определённая методичка по «оценке рисков среды», и там прописаны критерии, которые я не могу проигнорировать, при всём уважении. Я передам заявку на дополнительную экспертную комиссию — это не отказ, это просто более тщательная проверка.

— То есть нашу заявку рассматривают дольше, чем обычную, — сказала Настя, не как вопрос, а как констатацию, которую она уже почти ожидала услышать.

— Это стандартная процедура для... — Гринько замялась, подбирая слово помягче, — для нестандартных заявителей.

Дима на обратном пути молчал почти всю дорогу, а у машины вдруг спросил напрямую:

— Тебе часто так говорят? «Нестандартная»?

— Всю жизнь, — сказала Настя просто. — Привыкла уже почти не замечать, если честно, — только когда это касается не меня одной, а нас с тобой и будущего ребёнка, привычка почему-то не срабатывает так же гладко.

Дома в тот вечер Дима был зол сильнее, чем Настя когда-либо видела его за все их шесть лет вместе, — расхаживал по кухне, повторяя то «это же дискриминация», то «надо жаловаться», то «может, вообще не стоило связываться с этой комиссией».

— Сядь, — сказала Настя, и он сел, всё ещё кипя. — Я понимаю твою злость. Правда понимаю, у меня внутри то же самое. Но если мы сейчас будем только злиться, у нас не останется сил на то, чтобы реально пройти эту дополнительную комиссию. А злость — она нужна, но не как топливо для отчаяния, а как топливо для конкретных шагов.

— Каких шагов? — спросил Дима устало.

— Найти прецеденты. У движения людей с инвалидностью есть целая история борьбы именно с этой методичкой, я читала об этом ещё до заявки — ещё во времена, когда комиссии отсеивали не только риски, но и вообще любое отличие от статистической нормы. Найти адвоката, который специализируется на таких делах. Собрать заключения от независимых специалистов по доступной среде, чтобы не оставлять экспертной комиссии пространства для домыслов, только факты.

— Откуда в тебе столько спокойствия, — спросил Дима тише, садясь напротив. — Я весь на нервах, а ты как будто уже знала, что так будет.

— Я и правда знала, — призналась Настя. — Не в деталях, но в целом — знала, что придётся доказывать больше, чем обычной паре. Я с этим живу пятнадцать лет, с самой аварии. Каждый новый барьер уже не кажется несправедливостью специально против меня — просто ещё один барьер в длинном списке, который надо обойти, а не тот, который должен меня сломать.

Дима взял её за руку, впервые за вечер немного успокоившись.

На следующей неделе Настя нашла через знакомых общество взаимопомощи родителей с инвалидностью — оказалось, таких историй, как у них, было куда больше, чем она предполагала. На первой же встрече женщина по имени Тамара, незрячая, вырастившая уже двоих присвоенных детей, рассказала, как двенадцать лет назад ей пришлось пройти три экспертные комиссии подряд, прежде чем чиновники наконец признали, что «риск» в её случае существует только в их воображении.

— Знаешь, что самое обидное, — сказала Тамара. — Не сама проверка. А то, что они называют это заботой о ребёнке. Как будто мы сами не думаем о его безопасности каждую

секунду, просто потому что мы его родители, а не потому что комиссия напомнила. У меня старшая уже подросток, между прочим, прекрасно всё видит и слышит, помогает мне по хозяйству больше, чем видящие дети своим зрячим родителям, — и знаешь, что она мне однажды сказала? «Мам, я горжусь, что у меня такая мама, которая всё равно всего добилась».

Настя, слушая это, почувствовала, как к горлу подкатывает комок — не от жалости к себе, а от узнавания той же самой борьбы, растянутой на десятилетия, через которую прошли многие до неё. Она подумала о матери Тамары, которую та упомянула вскользь, — тоже когда-то сомневавшейся, справится ли незрячая дочь с ролью матери, а теперь, судя по рассказу, ставшей самой преданной помощницей внукам. Круг замыкается, подумала Настя, просто иногда для этого нужно на поколение больше времени и терпения, чем хотелось бы.

Дима посмотрел на Настю — не с раздражением уже, а с той смесью восхищения и вины, которая иногда возникает у людей, понимающих, что партнёру, из-за случайности рождения не столкнувшемуся с половиной барьеров в жизни, ещё многому предстоит научиться у того, кто с этими барьерами живёт каждый день.

Экспертная комиссия заняла ещё шесть недель — вдвое дольше стандартного срока. За это время Настя с Димой собрали заключение независимого специалиста по безопасной среде, отзывы от общества людей с инвалидностью, поддерживающих их заявку, и — по совету найденного адвоката — официальный запрос в комиссию с просьбой разъяснить, на основании какого именно пункта методички их заявка отнесена к «повышенному риску», раз никаких объективных угроз безопасности ребёнка эксперты не выявили.

Ответ пришёл сухим бюрократическим языком, без извинений и без признания ошибки, — но заявку одобрили.

В день визита в Дом ожидания Настя, впервые держа на руках мальчика, которого они назвали Лёвой, поймала себя на мысли, что где-то на подкорке всё ещё ждёт, что вот сейчас кто-то войдёт и скажет: «Извините, мы передумали, коляска — это всё-таки риск». Мысль была абсурдной, комиссия давно осталась позади, все документы подписаны, — но чувство, что тебя в любой момент могут признать «недостаточной», не проходило мгновенно только потому, что бумага сказала обратное.

— Смотри, — сказал Дима тихо, наклоняясь к Лёве, — вот твоя мама. У неё колёса вместо ног, зато она умнее всех, кого я знаю, и упрямее любой экспертной комиссии. Тебе повезло больше, чем ты думаешь.

Настя рассмеялась — впервые за все эти недели по-настоящему легко, без напряжения, которое держала в теле с самого первого визита в комиссию, — и прижала сына к себе чуть крепче, зная, что объяснять ему однажды, что такое «оценка риска», придётся ей самой, своими словами, а не языком чужой методички, написанной людьми, никогда не сидевшими по ту сторону этого конкретного стола.

Спустя год, на плановом визите патронажной службы, инспектор — молодая женщина, явно проходившая обучение по новому протоколу без предвзятости, — с искренним интересом расспрашивала о том, как устроен их быт, и в конце сказала:

— Знаете, вы, наверное, продумали безопасность лучше девяноста процентов семей, которые я проверяю. Обычно у меня куда больше замечаний.

— Двадцать лет тренировки, — усмехнулась Настя, качая на коленях уже подросткового, крепко держащегося за неё Лёву. — Когда мир заставляет тебя доказывать очевидное на каждом шагу, поневоле начинаешь делать это лучше среднего.

Вечером того же дня, укладывая Лёву спать, Настя рассказала ему — хотя он был ещё слишком мал, чтобы понять всё целиком, — короткую версию истории про методичку и экспертную комиссию, ту самую, которую собиралась подробно объяснить ему через несколько лет, когда он подрастёт достаточно, чтобы задавать собственные вопросы про мамино кресло.

— Знаешь, — сказала она, поправляя одеяло, — были люди, которые сомневались, что я смогу быть хорошей мамой, просто потому что у меня ноги не ходят. Смешно, да?

Лёва, уже почти засыпая, серьёзно кивнул, будто действительно нашёл эту мысль забавной, хотя, конечно, не до конца понял её взрослый смысл, — и Настя, глядя на его сонное лицо, подумала, что однажды этот разговор станет для него куда более значимым, чем сейчас, когда единственное, что он твёрдо знает о маминой коляске, — что с неё удобно наблюдать за миром чуть выше, чем с земли, и что мама всегда рядом, на какой бы высоте она ни находилась.

Глава 6. СТАРШИЙ

Олег сам вырос старшим в семье — настоящим, кровным старшим братом, на четыре года опередившим сестру, — и хорошо помнил то глухое, никогда до конца не проговорённое раздражение, с которым сам когда-то слышал материнское «ты же старший, уступи». Он думал, что, повзрослев, никогда не станет повторять эту фразу собственным детям. Оказалось, фразы такого рода умеют пробираться в речь помимо воли, особенно в минуты усталости, когда проще опереться на знакомую форму, чем изобретать новую на ходу.

Тимофею было пять, когда он в третий раз за неделю сломал Сонину поделку — на этот раз не специально, просто задел рукой, размахивая руками во время какой-то своей бурной игры, но результат от этого не менялся: бумажный домик, который Соня клеила весь вечер, лежал смятым на полу, а Соня уже набирала воздух для того самого протяжного, требовательного плача, каким плачут дети, точно знающие, что их услышат.

— Тимофей! — крикнула Марина резче, чем собиралась. — Ты же старший, ты должен быть аккуратнее!

Слова вылетели раньше, чем она успела их обдумать, — привычная фраза, слышанная, наверное, тысячу раз в собственном детстве от собственной матери. И только произнеся её, Марина вдруг споткнулась о что-то внутри, не сразу сумев назвать, что именно не так.

Вечером, укладывая обоих спать, она пересказала эпизод Олегу — не как жалобу, скорее размышляя вслух, пока муж молча слушал, продолжая складывать бельё.

— Понимаешь, я сказала ему «ты же старший», и в этот момент как будто что-то щёлкнуло. А почему, собственно, старший? Он старше на восемь месяцев по дате присвоения. Это же не значит вообще ничего — просто раньше пришла его заявка. Он не более развит, не более ответственен по природе, никакой биологии за этим нет. А я всё равно автоматически требую от него больше терпения, будто он обязан её иметь только потому, что раньше появился в нашей квартире.

— Ну, — сказал Олег, — какая-то логика в этом есть. Он объективно на восемь месяцев дольше живёт, дольше развивается. Я сам вырос старшим, знаю, каково это — от меня тоже вечно требовали уступить сестре, потому что «ты же большой». Я тогда злился на это страшно, если честно, но, повзрослев, как-то принял это за норму и сам не заметил, как теперь ту же норму несудальше.

— Вот именно, — сказала Марина. — Ты злился, потому что это было несправедливо, — тебя действительно связывала с сестрой кровь, общий дом, общая история задолго до её появления. А у нас — восемь месяцев разницы в дате бумажки. Дело не в развитии. Дело в том, что я требую от него не соответствовать своему реальному пятилетнему возрасту, а быть «старшим братом», с каким-то заранее прописанным набором обязанностей — уступать, прощать, отвечать за младшую.

Олег помолчал, вспоминая что-то своё, потом отложил полотенце совсем и сел напротив жены за кухонный стол — разговор явно требовал больше внимания, чем можно было уделить ему между делом.

— Знаешь, у меня ведь была ещё история, я тебе, кажется, не рассказывал. Однажды, лет в семь, я нарочно сломал сестрину игрушку — просто чтобы хоть раз оказаться «плохим», раз уж «хорошим старшим» быть настолько выматывающе. Мама тогда наказала только меня, хотя сестра меня специально до этого доводила полдня. Я запомнил это чувство несправедливости на всю жизнь. И вот сейчас понимаю — может, я именно поэтому так долго тянул с собственными детьми, боялся повторить мамину роль.

Марина взяла его за руку через стол, впервые за этот разговор увидев в муже не просто соавтора родительских решений, а человека, всё ещё носящего в себе давнюю, до конца не залеченную обиду.

— Ты никогда не рассказывал мне эту историю, — сказала она тихо.

— Стыдно было, — признался Олег. — Как будто, рассказав, я признаю, что до сих пор злюсь на маму, а это как-то по-детски в тридцать восемь лет.

— Совсем не по-детски, — сказала Марина. — По-моему, это ровно то, что сейчас помогает тебе не повторять её ошибку с нашими детьми.

На следующей неделе Марина поймала себя на похожем эпизоде ещё раз — теперь уже наблюдая за собой почти со стороны, как наблюдатель на собственном приёме у психолога. Соня разлила сок на новый ковёр, Тимофей случайно оказался рядом и тоже попал под горячую руку — «а ты куда смотрел, надо было её отодвинуть» — хотя объективно ребёнок физически не мог предугадать и предотвратить неловкое движение сестры.

Она рассказала об этом на встрече родительского клуба, куда ходила по четвергам, — небольшая группа таких же родителей, обменивающихся сложностями за чаем. Одна из женщин, Аня, мать троих присвоенных детей, кивнула понимающе:

— У меня то же самое было со старшей. Я потом поняла — я просто перенесла на неё сценарий из своего детства, у меня самой была родная младшая сестра, и меня в семье так же дрессировали: ты старшая, тебе положено. А тут вообще другая история, дети не связаны биологически, нет никакого «положено» от природы. Просто я не заметила, как автоматически впихнула их в старую форму, потому что форма была под рукой, а придумывать новую — сложнее.

— А ты как справилась? — спросила Марина.

— Начала каждый раз, прежде чем что-то сказать, задавать себе вопрос: я сейчас реагирую на то, что реально произошло, или на роль, которую сама же назначила? — ответила Аня. — Не всегда успеваю поймать себя вовремя, если честно. Но стало заметно реже. И ещё — я стала специально хвалить младшую за то же самое, за что раньше хвалила бы только старшую: «ты сегодня так хорошо поделилась игрушкой» — не важно, кто по возрасту первый, а кто второй. И знаешь, что интересно — старшая перестала так остро ревновать, когда поняла, что похвала теперь не привязана жёстко к её статусу «главной», а достаётся тому, кто её реально заслужил в моменте.

Дома в тот вечер Марина попробовала сформулировать вслух то, что вызревало последние недели.

— Слушай, я хочу, чтобы мы перестали пользоваться словами «старший» и «младший» как аргументом. Вообще, совсем. Не потому, что нельзя учитывать реальный возраст. А потому, что мы используем это как способ автоматически назначать виноватого, не разбираясь в конкретной ситуации. Тима не обязан уступать только потому, что раньше появился у нас дома. Он вообще ничего не обязан просто по факту порядка появления.

— А как тогда разбираться в конфликтах? — спросил Олег. — Раньше было хоть какое-то правило.

— Разбираться в каждом случае отдельно, — сказала Марина. — Дольше, муторнее, чем один универсальный аргумент на все случаи. Но честнее. Тима сломал поделку случайно — это не проступок «старшего», это просто неосторожность конкретного пятилетнего ребёнка в конкретный момент, и разговор с ним должен быть об этом, а не о его статусе.

— А если он правда виноват? — уточнил Олег. — Не случайно, а специально что-то сделал?

— Тогда разговор тоже должен быть про конкретный поступок, а не про то, что «старшим положено вести себя лучше». Ребёнок, который специально что-то сделал не так, виноват

независимо от возраста и порядка появления в семье, — и разбираться с этим тоже нужно предметно, честно проговаривая, что именно произошло, а не общими фразами про статус.

Первое настоящее испытание новому подходу выпало через две недели, когда оба ребёнка одновременно захотели одну и ту же игрушку — старую, потрёпанную лошадку, которую то ли Тимофей считал уже своей по праву давности, то ли Соня — по праву того, что первая её нашла в тот день. Марина, вместо привычного «Тима, уступи, ты старше», присела на пол между ними и спросила у каждого по очереди, зачем именно ему нужна лошадка именно сейчас. Разговор занял минут десять — куда дольше, чем заняла бы одна привычная команда, — но закончился тем, что дети сами, посоветовавшись, придумали играть по очереди, отмеряя время по кухонному таймеру.

— Видишь, — сказала она потом Олегу, — работает. Просто медленнее.

Перемена далась не сразу и не гладко — старая фраза срывалась с языка ещё не раз, по инерции, как срывается любое давно заученное слово, и Олег, ловивший себя на том же самом, однажды честно признался: «Я сегодня опять сказал ему "ты же большой" — и тут же понял, что делаю то же самое, за что сам злился на своих родителей тридцать лет назад». Но через месяц Марина заметила кое-что новое: Тимофей, которого больше не заставляли автоматически «быть большим», стал куда охотнее сам, по собственной инициативе, помогать сестре — не потому что обязан по статусу, а потому что заметил: его никто больше не наказывает превентивно за то, чего он ещё не сделал, и защитная, немного озлобленная настороженность, которая копилась в нём предыдущие месяцы, начала спадать.

— Соня, извини, что я твой домик сломал, — сказал он ей однажды сам, без напоминаний, помогая склеить новый. — Я не специально, но всё равно обидно, наверное.

Марина, слышавшая это из соседней комнаты, вдруг поняла, что старший брат, каким она пыталась вылепить его силой одного только слова, оказался куда менее убедительным воспитателем, чем просто пятилетний мальчик, с которым наконец начали разговаривать как с ним самим, а не с ролью, доставшейся ему по случайности даты в документах.

Через полгода, на дне рождения Тимофея, бабушка — мать Марины, тоже воспитанная на старых правилах, — по привычке сказала при всех гостях: «Ну что, большой уже, скоро сестре во всём помогать будешь, ты же старший». Марина, поймав взгляд Олега, мягко, но твёрдо ответила: «Мам, мы теперь стараемся так не говорить. Тима помогает Соне, когда сам хочет, а не потому что должен по возрасту». Мать удивлённо подняла брови, но спорить не стала, — а Тимофей, услышав это, посмотрел на мать с тем особым, благодарным облегчением, с каким смотрят дети, когда взрослые вдруг перестают требовать от них того, что казалось неизбежным грузом.

Ещё через год родился повод проверить, насколько прочно новый подход прижился в семье, — комиссия одобрила их третью заявку, и в доме появился младенец, которого назвали Фёдором. Марина, укладывая новорождённого, поймала себя на том, что уже готова была машинально сказать пятилетней тогда Соне: «теперь ты у нас средняя, следи за братом», — и вовремя остановилась.

— Знаешь, — сказала она вечером Олегу, — я чуть не поставила Соню в ту же ловушку, из которой мы вытаскивали Тиму. «Средний ребёнок», «должна следить». Хорошо, что вовремя поймала себя.

— Мы теперь, кажется, оба ловим себя быстрее, чем раньше, — сказал Олег, качая Фёдора на руках. — Может, в этом и есть весь смысл — не в том, чтобы никогда не ошибаться, а в том, чтобы замечать ошибку раньше, чем она успеет закрепиться в привычку.

Соня, услышав разговор родителей краем уха, подошла и, безо всякого подталкивания, сама предложила:

— Я хочу помогать с Федей, только не потому что я средняя, а просто потому что он маленький и смешной.

Марина с Олегом переглянулись, не сдержав улыбки, — формулировка дочери была точнее любой их собственной теоретической выкладки: помощь, идущая от желания, а не от навязанной роли, звучала совершенно иначе, даже на слух пятилетнего ребёнка.

Марина кивнула, глядя, как Тимофей и Соня по очереди, без всякого напоминания со стороны родителей, подходят посмотреть на нового брата, — оба одинаково любопытные, оба одинаково взволнованные, ни один не отягощён ролью, которую никто из них не выбирал сам.

Глава 7. БАБУШКИН ВОПРОС

Валентина Егоровна прожила с Сергеем сорок один год — с восемнадцати лет, когда встретила его на танцах в заводском клубе, и до его смерти три года назад, когда сердце остановилось во сне так тихо, что она поняла это только утром. Сергей работал токарем на том же заводе всю жизнь, дослужился до бригадира, был человеком немногословным, но удивительно наблюдательным — умел одним взглядом понять, что у собеседника на душе, хотя сам говорил об этом крайне редко. Детей у них с Сергеем не было своих в старом смысле — обоим ставили диагноз бесплодия ещё до того, как порталы стали нормой, — так что их единственный сын, Никита, был присвоен, когда Валентине было тридцать четыре, а порталы только-только начинали работать в их городе.

— А ты заметила, — сказала она теперь, наклоняясь к внуку через стол, — как он щурится совсем как дед? У Серёжи точно так же было, один в один, когда он что-то обдумывал.

Марк, которому недавно исполнилось четыре, ничего не щурился специально — просто на его лицо в этот момент падало солнце из окна, — но Валентина Егоровна произносила подобные фразы с завидной регулярностью вот уже второй год, с тех пор как Марка присвоили её сыну и невестке. То нос «точно дедовский», то смех «весь в прабабушку Тоню», то манера держать ложку — семейная, доставшаяся якобы через поколение.

Ира, невестка, обычно пропускала эти замечания мимо, коротко улыбаясь, но в этот раз, после длинной недели и особенно капризного вечера у сына, промолчать не смогла.

— Валентина Егоровна, вы же понимаете, что это физически невозможно, — сказала она мягко, но твёрдо. — У Марка нет ни одного гена ни от вас, ни от Серёжи. Портал формирует детей из обезличенной базы. Всё, что вы видите, — просто совпадение или обычная имитация, дети в этом возрасте копируют то, что видят вокруг.

Валентина Егоровна замолчала, и на секунду за столом повисло неловкое молчание — то самое, что случается, когда кто-то нечаянно называет вслух то, что все и так знали, но предпочитали не проговаривать.

— Прости, — сказала Ира позже, уже вдвоём с мужем на кухне. — Я не хотела её обидеть. Просто это же не мелочь, понимаешь? Она как будто всё время ищет в Марке кого-то другого, а не его самого. В прошлый раз она сказала, что у него «дедов упрямый лоб», хотя лбу-то и сравнивать особо нечего в четыре года.

— Она не со зла, — сказал Никита, муж. — Ты же знаешь, для неё это тяжёлая тема. Отец умер за год до того, как Марка присвоили. Она так и не успела с ним понапугаться, ни с одним внуком по-настоящему — я ведь тоже присвоенный, если ты забыла, так что и во мне она столько лет искала «своё», хотя знала прекрасно, что искать нечего.

— То есть это давняя история, — сказала Ира медленно. — Не только про Марка.

— Давняя, — подтвердил Никита. — Просто со мной ей было проще молчать об этом — я вырос рядом с ней, у нас накопилась общая жизнь, а с Марком всё ещё свежо, вот и прорывается чаще. Помню, кстати, она и мне в детстве говорила похожее — что я «улыбаюсь точно как бабушка Тоня». Я тогда не придавал значения, а сейчас, глядя со стороны на Марка, понимаю, насколько глубоко в ней сидит эта потребность видеть продолжение рода.

Разговор с самой Валентиной Егоровной случился не сразу — Ира долго не решалась, боясь ранить пожилую женщину, которая и без того тяжело переживала последние годы. Повод нашёлся сам, тёплым воскресным днём, когда Валентина Егоровна, оставшись с внуком наедине на несколько минут, снова сказала, на этот раз тише, будто про себя: «Ох, Серёжа, знал бы ты, какой у тебя внук растёт...»

— Валентина Егоровна, — сказала Ира, подойдя, — можно с вами поговорить? Не чтобы упрекнуть, честно. Я просто хочу понять.

Женщина подняла взгляд — усталый, чуть виноватый, будто её застали за чем-то постыдным.

— Я знаю, что глупость говорю, — сказала она тихо. — Знаю прекрасно, что никакой он не Серёжин внук по крови. Просто, понимаешь, дочка, мне ведь уже семьдесят три. Я хоронила мужа, хоронила сестру, скоро, наверное, моя очередь. И так хочется думать, что после меня хоть что-то от нашей семьи, от Серёжи, останется на земле — лицо, жест, что-то узнаваемое. А оказывается, не останется ничего. Марк — целиком свой, отдельный, ни капли нашего. Я умом это понимаю, а сердцем никак не могу принять, вот и цепляюсь за всякие глупости про нос и шурится.

— А с Никитой у вас было так же? — спросила Ира осторожно.

— Было, — призналась Валентина Егоровна. — Только я тогда была моложе, смерть ещё не стучалась в дверь так близко, было проще отвлечься на другое. А теперь, когда своя очередь чувствуется где-то рядом, эта мысль про «ничего не останется» звучит куда громче. Знаешь, я в последнее время часто перебираю старые фотографии — Серёжа на заводе, наша свадьба, Никита маленький. И каждый раз ловлю себя на мысли: вот кончится моя жизнь, и кто, кроме этих фотографий, будет помнить, что мы вообще были? Марк на них даже не похож ни капли, и мне от этого физически больно, честное слово.

— А вы когда-нибудь говорили об этом с кем-то, кроме меня сейчас? — спросила Ира. — С подругами, может, или со священником, если вы верующая?

— С Люсей, соседкой, пыталась однажды, — сказала Валентина Егоровна. — Она мне сказала: «Да брось, Валь, все сейчас так живут, привыкай». Это меня как-то ещё больше замкнуло, если честно, — почувствовала, что моя тоска как будто никому не интересна, раз это теперь просто новая норма для всех.

Ира, услышав это, почувствовала, как раздражение последних месяцев вдруг сменяется чем-то совсем другим — узнаванием чужой, очень человеческой тоски, которую легко спутать с обидной бестактностью, если не остановиться и не спросить, что за ней стоит на самом деле.

— Валентина Егоровна, — сказала она осторожно, — а что, если то, что останется, — не лицо и не жесты, а что-то другое? Вы же знаете кучу вещей, которые никакой портал не даст ребёнку сам по себе. Рецепт вашего пирога с вишней, например. Или ту песню, что вы пели Никите в детстве. Или историю про то, как дед в молодости чуть не опоздал на вашу свадьбу, потому что перепутал автобус.

Валентина Егоровна посмотрела на неё удивлённо, будто мысль эта раньше не приходила ей в голову именно в такой формулировке.

— Марк ведь ничего этого пока не знает, — продолжила Ира. — А вы можете стать тем единственным человеком, кто ему всё это передаст, — не через похожий нос, а через настоящую, живую память. Это, мне кажется, останется в нём куда прочнее, чем случайное сходство шуренья глаз.

Валентина Егоровна долго молчала, глядя в окно, а потом сказала неожиданно тихо:

— Знаешь, а ведь Серёжа, наверное, сказал бы то же самое, что и ты сейчас. Он был не из тех, кто цепляется за внешнее. Помню, он всегда говорил: «Валь, человека узнают не по лицу, а по тому, что он делает руками и что помнит». Я тогда не особо вслушивалась в эти слова, а сейчас, кажется, только начинаю понимать, о чём он.

С того разговора Валентина Егоровна не перестала совсем находить сходства — старая привычка отступала медленно, — но вместо этого в её визитах появилось кое-что новое: она стала приносить старые фотографии, рассказывать истории про деда за чаем — как он в молодости работал на заводе и однажды чуть не потерял палец в станке, как ухаживал за ней целый год, прежде чем решился сделать предложение, как боялся высоты, но всё равно каждое лето лез с ней на крышу дачи чинить протекающую кровлю, — а однажды притащила потрёпанную

тетрадь с рецептами и всерьёз, не торопясь, учила четырёхлетнего Марка мешать тесто, хотя тот, конечно, больше размазывал муку по столу, чем помогал.

— Вот этому рецепту сто лет, — говорила она ему серьёзно, будто он мог сейчас оценить весь вес этой фразы. — Его прабабушка Тоня придумала. Теперь будешь знать и ты, а потом, глядишь, кому-то своему передашь.

Марк, разумеется, мало что понимал из услышанного, но слушал внимательно, привлечённый не смыслом, а самым ритуалом внимания взрослого, целиком обращённого к нему.

Ира, наблюдая за этим из дверного проёма, поняла, что то самое, чего Валентина Егоровна боялась лишиться — продолжения семьи, — не исчезло вместе с исчезнувшей кровной связью, а просто нашло себе новую, более трудоёмкую, но и более настоящую форму: не то, что достаётся даром через гены, а то, что нужно сознательно, вручную передать из рук в руки.

Через год, когда Марку исполнилось пять, на его дне рождения Валентина Егоровна произнесла тост — неловкий, непривычный для человека, редко говорившего перед людьми, но искренний до последнего слова.

— Я раньше всё искала в тебе деда, — сказала она внуку, хотя тот вряд ли понимал большую часть сказанного. — А теперь думаю — зачем искать, если я сама могу тебе его передать? Не лицом, так историями. Не кровью, так руками, которые тебя учат печь пирог.

Ира, слушая этот тост, почувствовала, как на глаза наворачиваются слёзы, — не от грусти, а от того особого облегчения, что приходит, когда долгий, трудный процесс наконец находит себе разрешение, не идеальное, но настоящее.

Никита, стоявший рядом с женой, тоже не остался равнодушен к материнским словам — он подошёл к Валентине Егоровне после того, как гости начали расходиться, и обнял её крепче обычного.

— Мам, — сказал он тихо, — а ты ведь и мне так и не рассказала половину историй про деда, которые сегодня рассказывала Марку. Я почему-то узнал про станок и палец только сейчас, в свои тридцать шесть лет.

Валентина Егоровна смутилась, будто её поймали на чём-то неловком.

— Наверное, — сказала она, — я и с тобой в своё время слишком много искала сходства, вместо того чтобы просто рассказывать. Молодая была, глупая. Хочешь, расскажу тебе тоже, не только внуку? Отцовских историй у меня на сто лет вперёд хватит.

— Хочу, — сказал Никита просто, и в его голосе Ира впервые за долгое время услышала не взрослого мужчину, снисходительно потакающего пожилой матери, а того самого маленького мальчика, которому в своё время тоже не хватило того, что теперь щедро доставалось его сыну.

Прощаясь у двери, Валентина Егоровна вдруг взяла Иру за руку — жест непривычный для неё, обычно сдержанной в проявлениях чувств.

— Спасибо тебе, дочка, — сказала она. — Что не побоялась тогда со мной поговорить начистоту. Я бы, наверное, ещё долго так и цеплялась за щуренье глаз, если бы ты промолчала из вежливости.

— Мне тоже несложно было промолчать, если честно, — призналась Ира. — Но показалось, что вы заслуживаете разговора, а не вечной неловкости за столом.

Тем вечером, укладывая Марка спать, Ира рассказала ему — впервые своими словами, не дожидаясь бабушкиных визитов — короткую версию истории про дедушку Серёжу и станок, стараясь запомнить детали в точности так, как их произносила Валентина Егоровна, чтобы не растерять по пути ни одной чёрточки того человека, которого сама она никогда не видела, но которого теперь предстояло знать и любить её сыну.

Глава 8. ПУСТОЕ МЕСТО

Мать Лизы, Галина, забеременела ею старым способом — одной из последних в их городе, ещё до того, как естественная беременность окончательно стала редкостью. Лиза выросла на её рассказах: как тошнило на седьмой неделе так, что даже запах кофе казался невыносимым, как она чувствовала первый толчок ночью и разбудила мужа, приложив его руку к животу, как боялась родов и как эта боязнь странным образом смешивалась с предвкушением, которое сложно было объяснить словами, как в последний месяц не могла завязать шнурки сама и муж каждое утро опускался перед ней на колени, смеясь, что теперь понимает, каково быть рыцарем на службе у дамы.

Лиза заплакала на бэби-шауэре подруги — не тихо, украдкой, а внезапно, некрасиво, так, что пришлось извиниться и выйти на балкон, оставив недоумевающих гостей за столом с недоеденным тортом. Началось с мелочи: Оксана, разворачивая подарки, достала макет живота для игры «угадай размер» — и Лиза вдруг, без всякого предупреждения, почувствовала, как к глазам подступают слёзы, будто кто-то повернул внутри неё невидимый кран.

Подруга Оксана вышла следом, встревоженная.

— Ты чего? Что случилось?

— Не знаю, — честно сказала Лиза, вытирая лицо. — Правда не знаю. Просто увидела, как ты держишь этот дурацкий макет живота, и меня как будто накрыло. Прости, я порчу тебе праздник.

Оксана обняла её, не требуя объяснений, а Лиза весь оставшийся вечер пыталась понять, что именно с ней произошло, — потому что рационально объяснить это было нечем.

Дома, вечером, она попыталась рассказать об этом Илье.

— Понимаешь, — начала она, подбирая слова, — у меня как будто горе. Настоящее горе, физическое, а не просто плохое настроение. По тому, чего у меня никогда не было и не будет, — по беременности.

Илья, разгружавший посудомойку, остановился, явно растерянный.

— Но ты же сама не хотела рисковать, — сказал он осторожно. — Мы вместе решили, что портал безопаснее. Ты сама говорила, что не понимаешь этих, кто выбирает старый способ, — зачем так рисковать, когда есть нормальная альтернатива.

— Я и сейчас так думаю, — сказала Лиза. — Я не хочу вернуть тот выбор назад, честно. Дело не в этом.

— Тогда в чём? — спросил он, окончательно запутавшись. — Ты горюешь по тому, чего сама не хотела?

Лиза замолчала, потому что вопрос был справедливым, а ответа у неё не было — не потому что его не существовало, а потому что она сама только начинала его нащупывать.

Лиза в детстве слушала мамины истории с обычным детским любопытством, не примеряя их всерьёз на себя. Помнила, как однажды, лет в семь, спросила: «А я тоже так буду, когда вырасту?» — и мать, немного помрачнев, ответила уклончиво: «Может быть, доченька, сейчас уже реже так делают, но кто знает». Лиза не придавала тогда значения этой заминке. Но что-то, видимо, откладывалось глубже, чем она замечала, — потому что сейчас, в тридцать один год, замужем, счастливая в браке, довольная своим решением идти через портал, она вдруг обнаружила внутри пустоту в форме опыта, который никогда не будет ей принадлежать.

— Знаешь, это трудно передать, — говорила мать не раз, разглядывая старые фотографии с округлившимся животом. — Ты как будто не одна в своём теле почти год. Странное, тревожное, но и по-своему прекрасное чувство. Жалко, что тебе уже так не попробовать, доченька, — то, что мне досталось, теперь редкость.

— Понимаешь, — попыталась объяснить она мужу на следующий день, уже спокойнее, — я не хочу ребёнка через беременность вместо портала. Я хочу, чтобы то, что я чувствую, — вот это горе, — просто разрешили считать настоящим. А не списывали на «ну ты же сама выбрала» или «ну ты же ничего физически не теряла, чего расстраиваться».

— Я не пытаюсь его обесценить, — сказал Илья, — я правда просто не понимаю. Как можно горевать по тому, чего у тебя никогда не было?

— А ты никогда не жалел о карьере музыканта, которую даже не пытался построить? — спросила вдруг Лиза. — Не потому что реально этого хотел так сильно, чтобы бросить всё ради неё, а просто иногда, абстрактно?

Илья задумался.

— Бывает иногда, — признал он. — Смотрю на кого-то на сцене и на секунду думаю — а как бы это было. Хотя гитару в руках толком не держал с восемнадцати лет.

— Вот, — сказала Лиза. — Только у тебя это выбор, который ты мог бы сделать, просто не сделал. А у меня — то, чего вообще ни у одной женщины моего поколения почти не бывает, физически исчезающая возможность. Я горюю не по ребёнку, не пойми неправильно. Я горюю по конкретному телесному опыту, которым обладала моя мама, а я не буду обладать никогда, ни при каком раскладе.

В следующие выходные Лиза поехала к матери одна, без Ильи, — не с конкретной целью выговориться, но зная где-то внутри, что разговор назревает. Галина встретила её обычным хлопотливым чаепитием, но Лиза, вместо привычной лёгкой болтовни, вдруг сказала прямо:

— Мам, я в последнее время много думаю про твою беременность. И, кажется, немного завидую тебе. Не в плохом смысле, не обижайся. Просто завидую.

Галина отставила чашку, посмотрев на дочь внимательно.

— Я, наверное, виновата, что столько лет рассказывала тебе эти истории с таким восторгом, — сказала она осторожно. — Может, зря я так подробно всё описывала, зная, что тебе самой это уже вряд ли предстоит.

— Нет, мам, не зря, — сказала Лиза быстро. — Я не хочу, чтобы ты переставала рассказывать. Просто мне нужно было наконец сказать вслух, что слушать это не всегда легко, даже если это прекрасные истории. Можно и любить твои рассказы, и одновременно немного грустить, что у меня самой так не будет.

Галина долго молчала, обдумывая услышанное, а потом взяла дочь за руку.

— Знаешь, я тоже, если честно, иногда грущу об этом за тебя, — призналась она. — Смотрю на тебя и думаю — вот бы и ты почувствовала то же самое, что чувствовала я. Хотя тут же себя одёргиваю — ты ведь не просила у меня разрешения не хотеть рисковать, и правильно, что не просила. Это ведь я сама, наверное, невольно навязывала тебе мысль, что «настоящий» опыт — только через беременность, а других настоящих способов не бывает.

— Может, дело не в том, чтобы кто-то был виноват, — сказала Лиза. — А просто в том, чтобы обоим разрешить себе грустить об этом иногда, не считая это ни виной, ни неблагодарностью.

Через неделю Лиза рассказала об этом чувстве психологу, к которой изредка ходила ещё с университета, — не за диагнозом, просто чтобы услышать со стороны, не сходит ли она с ума.

— Это называется непризнанное горе, — сказала психолог. — Горе по тому, что общество не считает достаточно веской причиной для скорби, потому что формально ничего «не потеряно» — ведь вы никогда этим не обладали. Но горе не спрашивает разрешения у логики. Тело и психика реагируют на утрату возможности точно так же, как на утрату того, что уже было, просто окружающим сложнее это признать законным.

— То есть я не сумасшедшая, — сказала Лиза, наполовину в шутку.

— Совершенно точно нет, — ответила психолог. — Вопрос не в том, чтобы разлюбить свой выбор идти через портал. А в том, чтобы позволить себе оплакать то, чего этот выбор —

при всей его правильности — не мог дать в придачу. Кстати, часто такое горе усиливается не само по себе, а из-за того, что его постоянно приходится защищать перед другими людьми — доказывать, что оно вообще имеет право быть. Это отнимает силы вдвойне: сначала горевать, потом ещё убеждать окружающих, что горевать не глупо.

Они не нашли решения в тот вечер с Ильёй — некоторые вещи не решаются разговором за один присест, — но муж перестал пытаться логически «выключить» её грусть аргументами про рациональность выбора. Просто стал иногда, без всякого повода, спрашивать: «Ты сегодня в порядке? По поводу того самого?» — не требуя отчёта, просто оставляя пространство, в котором Лиза могла сказать «да, немного тяжело сегодня» или «нет, сегодня нормально», без необходимости оправдываться за то, что чувствует нечто, чему нет полностью логичного объяснения.

Через месяц она завела тетрадь — не дневник в привычном смысле, а место, куда записывала мамины истории про беременность, пока сама мама ещё могла их рассказывать в подробностях. Не для того, чтобы прожить эти истории вместо себя — это было невозможно, — а чтобы то, чего сама она никогда не почувствует, хотя бы не потерялось совсем, оставшись памятью о чужом, но родном теле, которое когда-то носило её саму.

Однажды, перечитывая записанное, она поймала себя на мысли, что тетрадь стала не столько архивом чужого опыта, сколько местом, где её собственное, непризнанное горе наконец получило право на существование, — не как каприз, не как неблагодарность за то, что имеет, а просто как ещё одно, вполне законное человеческое чувство, для которого не обязательно искать рациональное объяснение, чтобы иметь право его чувствовать.

Через полгода, на очередном приёме, Лиза рассказала психологу, что горе не исчезло совсем, но изменило форму — стало реже накатывать внезапно, чаще приходило в ожидаемые моменты: на чужих бэби-шауэрах, при виде беременных на улице, иногда просто от случайного запаха, напоминающего мамину кухню тех лет.

— Знаете, что интересно, — сказала она психологу, — я на прошлой неделе встретила на детской площадке женщину с явно круглым животом — сейчас это редкость, все на неё смотрели. И вместо привычной вспышки зависти или боли я вдруг почувствовала что-то вроде тихого уважения. Как будто моё горе наконец нашло себе спокойное место внутри меня, а не выжигало всё вокруг каждый раз заново.

— Это и есть то, к чему обычно приводит признанное, прожитое горе, — сказала психолог. — Оно не исчезает полностью, но перестаёт быть врагом, с которым нужно бороться. Становится просто частью вашей истории, с которой можно мирно сосуществовать.

Лиза кивнула, думая о тетради дома, полной маминих историй, — свидетельстве не только чужого опыта, но и её собственного, долгого пути к тому, чтобы разрешить себе чувствовать то, что она чувствует, без необходимости оправдываться за это перед кем-либо, включая саму себя.

На следующей встрече с матерью Лиза принесла ту самую тетрадь, показала Галине несколько записанных историй.

— Смотри, — сказала она, — я тут записала про толчок ночью и про шнурки. Хочу, чтобы это осталось не только у меня в памяти, а по-настоящему записанным, на бумаге. Может, однажды я найду, кому это передать, если у меня будет свой ребёнок через портал и он спросит, откуда он вообще взялся, — расскажу и это, как часть нашей общей истории, даже если сам он никогда так не появится.

Галина, листая тетрадь, вдруг расплакалась — не от горя, а от того особого, светлого волнения, которое приходит, когда понимаешь, что прожитое тобой не пропадёт бесследно, а найдёт продолжение в чьей-то ещё, пусть и совсем другой, жизни.

— Спасибо, доченька, — сказала она, вытирая слёзы. — Я как будто только сейчас поняла, что все эти годы боялась одного — что моя история умрёт вместе со мной, никому

не нужная в мире, где так почти никто больше не рождает. А ты взяла и сделала так, что она останется жить, просто в другой форме, чем я думала.